
Юмористические рассказы и очерки
И. Ф. Горбунов



И. Ф. Горбунов. *Портрет К. Маковского.*

И. Ф. ГОРБУНОВ

Юмористические рассказы и очерки

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1962

Подготовка текста, послесловие и примечания
Н. А. Сверчкова.


Сцены
из народного
быта

ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА

Сцена из московского захолустья

— Что это за народ собрамши?

— Бог их знает... с утра стоят.

— Не насчет ли солонины?

— Какой солонины?

— Да ведь как же: этот хозяин кормил фабрику солониной, но только теперича эту самую солонину запечатали, потому есть ее нет никакой возможности.

— Это вы насчет солонины-то? Нет, уж он им три ведра поставил: распечатали, опять жрут...

— Да, уж эта солонина!..

— Что это за народ собрамши?

— Разно говорят: кто говорит — на небе неладно, кто говорит — купец повесился...

— А мы из Нижнего ехали... пьяные... Едем мы, пьяные, и сейчас эта комета прямо к нам в тарантас... инда хмель соскочил! Я говорю: «Петр Семенов, смотри!» «Я, говорит, уж давно вижу», а сам так и трясется...

— Затрясешься, коли, значит... богу ежели что... Все мы люди, все человеки...

— «Не оборотить ли, говорит, нам назад?» — «Бог милостив, говорю, от судьбы не уйдешь, давай лучше выпьем, а она, матушка, может стороной пройдет. Хвост уж очень разителен!.. Такой хвост, я тебе доложу, что просто...»

— Грехи наши тяжкие... Слаб есть человек! Вот хоть бы теперь! Этакое наказание божеское, а сколько народу пьяного.

— Без этого нельзя: иной опасается, а другой так опосля вчерашнего поправляется.

— Нет, вы докажите!

— И докажу!

— Одно ваше невежество!

— Извольте говорить, мы слушаем. Вы говорите...

— Я вас очень хорошо знаю: вы — московский мещанин и больше ничего!

— Оченно это может быть, а вы про затмение докажите. Вы только народ в сумнение привели!.. Из-за ваших пустых слов теперича этакое собрание!.. Городовой! Городовой!..

— Вот он тебе покажет затмение!..

— Да, наш городовой никого не помилует!

— Докажите!

— Живем мы тихо, смирно, благородно, а вы тут пришли — всех взбудоражили.

— Хозяйка наша в баню поехала и сейчас спрашивает: «Зачем народ собирается?» А кучер-то, дурак, и ляпни: «Затмения небесного дожидаются...» Сырой-то женщине!..

— Образование!

— Так та и покатилась! Домой под руки потащили...

— Он с утра здесь путается. Спервоначалу зашел в трактир и стал эти свои слова говорить. «Теперича, говорит, земля вертится», а Иван Ильич как свистнет его в ухо... «Разве мы, говорит, на вертушке живем?»

— Дикая ваша сторона, дикая!..

— Мы довольны, слава тебе, господи!..

— Господин, проходите!

— Барин, ступай лучше, откуда пришел, а то мы тебе лопатки назад скрутим...

— Смотри-ко, что́ народу подваливает.

— Горяченькие пирожки! У меня со вкусом! Так и кипят!

— Что это за народ собрамши?

— Вон пьяный какой-то выскочил из трактиру, наставил трубочку на солнышко, говорит — затмение будет.

— А где же городовой-то?

— Чай пить пошел.

— Надо бы в часть свести.

— Сведут, это уж беспременно...

— За такие дела не похвалят.
— Все в трубочку глядит; может, что и есть.
— У нас на Капказе, на правом фланге, у ротного командира во какая труба была... все наскрозь видно... Ночью ли, днем ли, как наставит — шабаш: что-нибудь да есть.
— Начало затмения! Вот, вот, вот... Сейчас, сейчас, сейчас...
— А вот и городовой идет.
— Сейчас выручит!
— Вот, господин городовой, теперича этот человек...
— Осади назад!
— Теперича этот человек...
— Неизвестный он нам человек...
— Позвольте, спервоначалу здесь был... вышел он, примерно, из трактира... но только народ, известно, глупый... и стал сейчас...
— Не наваливайте... которые!.. Осадите назад!
— Иван Павлыч, ты наш телохранитель, выручи! Выпил я за свои деньги...
— Вы тогда поймете, когда в диске будет.
— Почтенный, вы за это ответите!
— За что?
— А вот за это слово ваше нехорошее.
— Выскочил он из трактира...
— Сейчас затмится!
— Может, и затмится, а вы, господин, пожалуйте в участок. Этого дела так оставить нельзя.
— Как возможно!
— Может, хозяйка-то наша теперича на тот свет убралась по твоей милости.
— Хотел на божью планиду, а попал в часть...
— На Капказе бы за это...
— Сколько этого глупого народу на свете!..

«Еженедельное новое время». № 6—7, 1879 г.

У ПУШКИ

— Ребята, вот так пушка!

— Да!..

— Уж оченно, сейчас умереть, большая!..

— Большая!..

— А что, ежели теперича эту самую пушку, к примеру, зарядят да пальнут...

— Да!

— Особливо, ядром зарядят.

— Ядром ловко, а ежели бонбой, ребята, — лучше.

— Нет, ядром лучше!

— Да бонбой дальше.

— Все одно, что ядро, что бонба!

— О, дурак-черт! Чай ядро — особь статья, а бонба — особь статья.

— Ну, что врешь-то!

— Вестимо! Ядро теперича зарядят, прижгут — оно и летит.

— А бонба?

— Чаво бонба?

— Ну, ты говоришь — ядро летит... а бонба?

— А бонба другое.

— Да чаво другое-то?

— Бонбу ежели, как ее вставят, так-то... туда...

— Так что же?

— Бонбу...

— Ну?..

— Вставят... и ежели оттеда...

— Чаво оттеда?..

— Ничаво, а как собственно... Пошел к черту!

«Общезанимательный вестник» № 13, 1857 г.

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ

Сцена

Около воздушного шара толпа народа.

— Скоро полетит?

— Не можем знать, сударь. С самых вечерен надувают; раздуть, говорят, невозможно.

— А чем это, братцы, его надувают?

— Должно, кислотой какой... Без кислоты тут ничего не сделаешь.

— А как он полетит — с человеком?

— С человеком... Сам немец полетит, а с им портной.

— Портной?!

— Портной нанялся лететь... Купцы наняли...

— Портной!

— Пьяной?

— Нет, черезвый, как следовает.

— Портной!.. Зачем же он летит?

— Запутался человек, ну и летит. Вестимо, от хорошего житья не полетишь, а значит, завертелся...

— Мать его там, старушка, у ворот стоит плачет... «На кого ты, говорит, меня оставляешь?» — «Ничего, говорит, матушка, слетаю, опосля тебе лучше будет. Знать, говорит, мне судьба такая, чтобы, значит, лететь».

— Давай мне теперича, при бедности моей, тысячу целковых да скажи: Петров, лети!..

— Полетишь?

— Я-то?

— Ты-то?

— Ни за что! Первое дело — мне и здесь хорошо, а второе дело — ежели теперича этот портной летит, са-

мый он выходит пустой человек... Пустой человек!.. Я теперича осьмушечку выпил, бог даст — другую выпью и третью, может, по грехам моим... а лететь мы несогласны. Так ли я говорю? Несогласны!

— Где же теперича этот самый портной?

— А вон ему купцы водки подносят.

— Купец ублаготворит, особливо ежели сам выпивши.

— Все пьяные... Уж они его угощали и целовать пробовали — все делали. А один говорит: «Ежели, бог даст, благополучно прилетишь, я тебя не забуду».

— Идет, идет... Портной идет...

— Кто?

— Посторонись, братцы...

— Портной идет...

— Это он самый и есть?

— Он самый...

— Летишь?

— Летим, прощайте.

— Нас прости, Христа ради, милый человек.

— Прощай, брат! Кланяйся там... Несчастный ты человек, вот я тебе что скажу! Мать плачет, а ты летишь... Ты хошь бы подпоясался...

— Это дело наше...

— Но только ежели этот пузырь ваш лопнет, и как ты оттедова турманом... в лучшем виде... только пятки засверкают...

— Смотри-ка, братцы, купцы его под руки повели, сейчас, должно, сажать его будут...

— Ты что за человек?..

— Портной...

— Какой портной?

— Портной с Покровки, от Гусева. Купцы его лететь наняли.

— Лететь! Гриненко, сведи его в часть.

— Помилуйте...

— Я те полечу! Гриненко!.. Извольте видеть!.. Лететь!.. Гриненко, возьми...

— Поволокли!..

— Полетел голубчик!

— Да за этакие дела...

— Народ-то уж оченно избаловался, придумывает, что чудней!..

— Что это, мошенника повели?

— Нет, сударь, портного...

— Что же, украл он что?

— Никак нет, сударь. Он, извольте видеть... бедный он человек... и купцы его наняли, чтобы сейчас, значит, в шару лететь.

— На воздусях...

— А квартальному это обидно показалось...

— Потому — беспорядок...

— Летит, братцы, летит... Трогай!..

— И как это возможно без начальства лететь?!

Сборник «Складчина», 1874 г.

МАСТЕРОВОЙ

(Мастеровой пришел к своему хозяину сказать, что он женится).

— Что ты?

— Да я, Кузьма Петрович, к вашей милости...

— Что?

— Так как, значит, оченно благодарны вашей милостью... почему что сызмальства у вас обиход имеем...

— Так что же?

— Ничаво-с! Теперича я, значит, в цветущих летах... матушку, выходит, схоронил...

— Ну, царство небесное.

— Вестимо, царство небесное, Кузьма Петрович... московское дело... за гульбой пойдешь...

— Да что ж ты лясы-то все точишь?

— Известно, какое наше дело...

— Денег, что ли?

— Благодарим покорно. Туточка вот у Гужонкина ундер живет... у него, значит, сторож...

— Да.

— А она и его дочь...

— Ну?

— В прачешной должности состоит и портному обучена...

— Тебе-то какое же дело?

— То есть... выходит... по своему делу, а он у его... сторож...

— Так тебе-то что же?

— Законным браком хотим.

— Ну, так женись.

— То-то. Я вашей милости доложить пришел.

«Общезанимательный вестник». № 1, 1857 г.

У КВАРТАЛЬНОГО НАДЗИРАТЕЛЯ

Квартальный надзиратель.
Григорьев, его слуга.
Купец.
Иван Ананьев, фабричный.

Квартальный надзиратель (*сидит утром в канцелярии и читает бумаги*). «А посему Московская управа благочиния...» Григорьев!

Григорьев. Чого звольте, ваше благородие?

Квартальный надзиратель. Вели приготовить селедку с яблоками.

Григорьев. Слушаю, ваше благородие.

Квартальный надзиратель (*читает*). «Навести надлежащие справки...»

Купец входит.

Квартальный надзиратель (*оборачиваясь*). Кто тут?

Купец. Это, батюшка, я-с.

Квартальный надзиратель. Что за человек?

Купец. Я здешний обыватель.

Квартальный надзиратель. Что тебе нужно?

Купец. Я к вам, батюшка, со всепокорнейшею просьбой.

Квартальный надзиратель. Например?

Купец. У меня есть до вас, батюшка, казусное дело.

Квартальный надзиратель. Казусное? Какого роду?

Купец. Дело, батюшка, вот какого роду: не бессудьте, ваше благородие, позвольте вам для домашнего обиходу три рублика...

Квартальный надзиратель. Прошу вас садиться.

Купец. Постоим, ваше благородие... Постоять можем...

Квартальный надзиратель. Какое ваше дело?

Купец. Небезызвестно вашей милости, что у меня в вашем фартале находится дом и деревянным забором обнесенный...

Квартальный надзиратель. Да.

Купец. В оноем самом доме у меня производится фабрика, ткут разные материи.

Квартальный надзиратель. Потом?

Купец. Был я, сударь...

Квартальный надзиратель. Садитесь, садитесь...

Купец. Ничего-с. Был я, сударь, в субботу в городе, да маленько, признаться, замешкамшись... Бегу из городу-то почитай что бегом, думаю, хозяйка ждет по семейному делу, чай пить...

Квартальный надзиратель. Ну да, дело семейное...

Купец. А на фабрике у меня есть крестьянин Иван Ананьев...

Квартальный надзиратель. Что же, он пьян, что ли, напился?.. Буйство, что ли, какое наделал?

Купец. Это бы, сударь, ничего, это при ем бы и осталось; он у меня украл срезку.

Квартальный надзиратель. Что такое — срезку?

Купец. А это, выходит, как ежели теперича, собственно, материя, которая, значит, по нашему делу...

Квартальный надзиратель. Понял!

Купец. Я ему говорю: «Иван Ананьев, пойдем к фартальному», — «Я-ста, говорит, твоего фартального не боюсь».

Квартальный надзиратель. Как так? Григорьев!..

Купец. Я говорю: «Как не боишься? Всякий благородный человек ударит тебя по морде и ты ничего не поделаешь, а наипаче фартальный надзиратель...»

Квартальный надзиратель. Григорьев!

Купец. Ведь оно, ваше благородие, нашему брату без сумления кажинную вещь пропущать нельзя, почему что всего капиталу решишься.

Квартальный надзиратель. Григорьев!

Купец. Опять же говорю, что фартальный у нас якобы, значит... примерно... выходит...

Григорьев, потом Иван Ананьев.

Григорьев. Чого звольте, ваше благородие?

Квартальный надзиратель. Дурак.

Григорьев. Слушаю, ваше благородие!

Квартальный надзиратель. Дай мне сюда Ивана Ананьева.

Григорьев (*отворяя дверь*). Кондратьев! И де вин тут Иван Ананьев?.. Который? Давай его к барину... Иван Ананьев!..

Иван Ананьев входит.

Квартальный надзиратель. Как тебя зовут?

Иван Ананьев. Сейчас умереть, не брал.

Квартальный надзиратель. Чего?

Иван Ананьев. Не могу знать чего.

Квартальный надзиратель. Отправь его в частный дом.

Иван Ананьев. Кузьма Петрович только мораль на меня пущает, почему что как я ни в каком художестве не замечен...

Квартальный надзиратель. Возьми его!

Григорьев. Кондратьев!..

Купец. Благодарим покорно. Больше ничего не требуется?

Квартальный надзиратель. Там в канцелярии напишите объяснение.

Купец. Слушаю. (*Уходит.*)

Квартальный надзиратель. Григорьев!

Григорьев. Чого звольте, ваше благородие?

Квартальный надзиратель. Дай мне мундир.

Григорьев. Да вин увесь в пятнах, ваше благородие.

Квартальный надзиратель. Как?!

Григорьев. Не могу знать.

Квартальный надзиратель. А можно их вывести?

Григорьев. Можно, ваше благородие.

Квартальный надзиратель. Чем?

Григорьев. Не могу внать.

Квартальный надзиратель. Я думаю, скипидаром.

Григорьев. И я думаю, що скипидаром.

Квартальный надзиратель. Да ведь вонять будет...

Григорьев. Вонять будет, ваше благородие.

Квартальный надзиратель. А может, не будет.

Григорьев. Ничего не будет, ваше благородие... *(Приносит обратно.)* Готов, ваше благородие.

Квартальный надзиратель. Что?

Григорьев. Ничего.

Квартальный надзиратель. Воняет?

Григорьев. Воняет, ваше благородие.

Квартальный надзиратель. Скверно.

Григорьев. Скверно, ваше благородие.

Квартальный надзиратель. Да ведь, я думаю, незаметно.

Григорьев. И я думаю, що незаметно. Звольте надевать.

«Общезанимательный вестник» № 1, 1857 г.

У МИРОВОГО СУДЬИ

Комната мирового судьи, перед столом стоят
два приказчика из Апраксина двора.

Мировой судья. Вы обвиняетесь в том, что в гостинице «Ягодка» вымазали горчицей лицо трактирному служителю...

Первый. Бушевали мы — это точно.

Мировой судья. Разбили зеркало...

Первый. За все за это заплачено и мальчишке дадено, что следует.

Мировой судья. Так вы признаете себя виновным?

Первый. Какая же в этом есть моя вина?.. Ежели я за свои деньги...

Мировой судья. Вы вместе были?

Второй. Так точно!..

Мировой судья. Признаете себя виновным?

Второй. Никак нет-с!

Мировой судья. В протоколе написано, что вы...

Второй. Что ж, я за два двугривенных какой угодно протокол напишу.

Мировой судья. Вы так не выражайтесь.

Второй. Тут выраженьев никаких нет.

Мировой судья. Расскажите, как дело было.

Свидетель. Про которые они про деньги говорят, я их не получал. А что как они пришли и, между прочим, выпимши, и сейчас приказали, чтобы селянку и большой графин, а опосля того бутылку хересу. Как сейчас выпили, так и закуражились.

Первый. Ежели я тебе лицо мазал...

Мировой судья. Молчите.

Первый. Как угодно, только он все врет...

Защитник. Позвольте предложить свидетелю вопрос.

Мировой судья. Вы кто такой?

Защитник. В качестве защитника.

Мировой судья. После.

Свидетель. Сейчас закуражились и сейчас стали меня терзать.

Мировой судья. Как терзать?

Свидетель. За волосы.

Мировой судья. Кто из них?

Свидетель. Вот они.

Первый. Собственно, все это пустяки.

Защитник. Позвольте предложить вопрос свидетелю.

Мировой судья. Я вам сказал, что после.

Свидетель. Ну, опосля того мазать меня горчицей стали. Гость один говорит: «Что вы, господа купцы, безобразничаете?» А они говорят: «Мы за свои деньги».

Мировой судья. Так это было?

Первый. Может, я был очень выпимши, не помню. А что ежели и смазали маленько — беды тут большой нет; если бы мы его скипидаром смазали... опять и деньги мы за это заплатили. Коли угодно, виноватым я буду.

Мировой судья. А вы?

Второй. Мы остаемся при своем показании.

Защитник. Теперь можно защитнику?

Мировой судья. Можно.

Защитник. Господин мировой судья! Чистосердечное раскаяние, принесенное в суде, на основании нового законоположения, ослабляет... Закон разрешает вам по внутреннему убеждению, а потому я прошу вас судить моего доверителя по внутреннему убеждению. Я отвергаю здесь всякое преступление. Я долго служил в Управе благо...

Мировой судья. Позвольте, господин защитник. Вы в каком виде?

Защитник. Чего-с?

Мировой судья. Вы в каком виде пришли сюда?

Защитник. В каком-с?

Мировой судья. Я вас штрафую тремя рублями. Извольте выйти вон.

Защитник. Скоро, справедливо и милостиво!

«Сцены из народного быта», 1874 г.

РАЗВЕСЕЛОЕ ЖИТЬЕ

Сцена

Купец. Наслышаны мы об вас, милостивый государь, что, например, ежели что у мирового — сейчас вы можете человека оправить.

Адвокат. А у вас дело есть?

Купец. Дело, собственно, неважное, пустяки, выходит... Не мы первые, не мы последние... известно, глупость наша...

Адвокат. Скандал сделали?

Купец. Шум легонькой промежду нас был.

Адвокат. В публичном месте?

Купец. Как следует... при всей публике.

Адвокат. Нехорошо!

Купец. Действительно, хорошего мало.

Адвокат. Где же это было?

Купец. На Владимирской... такое заведение там прилажено.

Адвокат. В «Орфеуме»?

Купец. В этом самом. *(Молчание.)* Ежели я теперича, милостивый государь, человека ударю, что мне за это полагается?

Адвокат. В тюрьме сидеть.

Купец. Так-с!.. Долго?

Адвокат. Смотря как... недели три... месяц...

Купец. А ежели я купец, например, гильдию плачу.

Адвокат. Тогда дольше: месяца два, а то и три.

Купец. Конфуз!.. *(Молчание.)* А ежели он с своей стороны тоже действовал и оченно даже... можно сказать, сокрушить хотел?

Адвокат. Да расскажите мне все, что было. Садитесь. Расскажите по порядку.

Купец. Порядок известный — напились и пошли чертить. Вот изволите видеть: собралось нас, примерно, целое обчество, компания. Ну, а в нашем звании, известно, разговору без напитку не бывает, да и разговор наш нескладный. Вот собрались в Коммерческую, ошарашили два графина, на шампанское пошли. А шампанское теперича какое? Одно только ему звание шампанское, а такой состав пьем — смерть! Глаз выворачивает!.. Который непривычный человек, этим ежели делом не занимается, с одной бутылки на стену лезет.

Адвокат. А не пить нельзя?

Купец. Для восторгу пьем. Больше делать нечего. Ну, заправились как должно — поехали. Путались-путались по Санкт-Петербургу-то, метались-метались — в «Эльдорадо» приехали. Опять та же статья, сызнова... Поехали по домам-то, один из нашего обчества и говорит: «Давайте, говорит, прощальный карамболь сделаем, разгонную бутылку выпьем, чтобы все чувствовали, что мы за люди есть». Сейчас на Владимирскую. Мыслей-то уж в голове нет, стыда этого тоже, только стараешься как бы все чудней, чтобы публика над тобой тешилась. Набрали этого самого женского сословия — там его видимо-невидимо, — угощать стали. Угощали-угощали — безобразничать. Подошел какой-то — не то господин, не то писарь: «Нешто, говорит, так с дамами возможно? Это, говорит, ваше одно необразование». Кто-то с краю из нашей компании сидел, как свистнет его: «Вот, говорит, наше какое образование». Так тот и покатился. Ну, и пошло!.. Вся эта нация завизжала! Кто кричит — полицию, кто кричит — бей!

Адвокат. А вы били кого-нибудь?

Купец. Раза два смазал кого-то... подвернулся.

Адвокат. Прежде вы за буйство не судились?

Купец. При всей публике?

Адвокат. Да, у мирового судьи?

Купец. У квартального раза два судился прежде. Тогда проще было: дашь, бывало, письмоводителю — и кончено. А теперича и дороже стало, и страму больше.

Адвокат. Сраму больше.

Купец. В газетах не обозначат?

Адвокат. Напечатают.

Купец. А ежели, например, пожертвовать на богадельню или куда?

Адвокат. Ничего не поможет.

Купец. Беспременно уж, значит, сидеть?

Адвокат. Я думаю.

Купец. Все одно, как простой человек, с арестантами?

Адвокат. Да.

Купец. Из-за пустого дела!.. Хлопочи вот теперь, траться. Сейчас был тоже у одного адвоката, три синеньких отдал.

Адвокат. За что?

Купец. За разговор. «Я, говорит, твое дело выслушаю, только мне, говорит, за это пятнадцать рублей и деньги сейчас». Ну, отдал, рассказал все как следует...

Адвокат. Что же он?

Купец. Взял он эти деньги: «Уповай, говорит, на бога».

Адвокат. И больше ничего?

Купец. Ничего! «Уповай, говорит, на бога», — и шабаш!

«Сцены из народного быта», 1874 г.

ЖЕСТОКИЕ НРАВЫ

Васенька, молодой купец, щеголевато одетый, белокурый, выражение лица тупое.

Настенька, его жена, красавица, лет 19.

Настенька. Вася, да полно же, наконец! Ведь это ужасно скучно!

Васенька. А мне весело!

Настенька. Приятно, что ли, терпеть твое безобразие-то? Два месяца как женился и ни одной почти ночи даже не ночевал.

Васенька. Как ни одной? Третьего дня не ночевал, это точно. Ну, сегодня...

Настенька. Ну, вот сегодня: в котором ты часу приехал?

Васенька. В раннюю обедню. На Болвановке ударили, как я подъехал. У Никона Никоныча стражение было и засиделись.

Настенька. Какое сражение?

Васенька. Обыкновенно какое — в трынку играли. После на тройке сделали... у Натрускина цыган послушали. Все честь-честью, как следует. Дай только бог, чтобы это не в последний раз в сей нашей кратковременной жизни.

Настенька. Ну уж и жизнь!.. Господи!

Васенька. Тяжелая! Так вчерашнего числа наша компания лики свои растушевала, такие на них колера навела, даже до невозможности. До саней-то насилу доползли.

Настенька. И ты так говоришь об этом спокойно.

Васенька. Что ж, плакать, что ли? Ну, напились, что за важность! Мадера такая попалась... В нее не вле-

вешь: черт их знает, из чего они ее составляют. Пьешь... ничего, а как встал — кусаться хочется. Обозначено на ярлыке «Экстра», этикет утвержден, ну и давай. После к «Яру» заезжали. Иван Гаврилович певицу чуть не убил.

Настенька. Фу, какая гадость!

Васенька. Ничего тут нет особенного, целоваться лез, а та препятствовала. Счастья своего не понимала. Поцеловала бы раз, другой — сотенная и в кармане.

Настенька *(с отвращением)*. Тьфу!

Васенька. Да и человека-то острамила: протокол составили, к мировому потащут.

Настенька. Ах, как я рада!

Васенька. Чему радоваться-то? С человеком несчастье, а она радуется. Ежели у него такой характер?

Настенька. Обижать женщину?

Васенька. Да какая в этом есть обида? За свои деньги...

Настенька *(с упреком)*. Вася, зачем ты женился?

Васенька. Что ж, мне вред, что ли, от этого? Окромя удовольствия, ничего!

Настенька. А мне-то какое удовольствие?

Васенька *(поет)*.

Что мне до шумного света,
Что мне друзья и враги...

Обожаю! Растопится твое сердце... Да полно плакать ты, дура!

Что мне до шумного света...

Настенька. Скоро же твоя любовь прошла...

Васенька. Да она не проходила. Разве в этом любовь состоит, чтобы дома сидеть. Любовь в том состоит — взвился теперь, закружился, выпил что следует, удовольствовал свою душу — домой! Все у тебя тихо, смирно, хорошо. Вот это любовь!

Настенька. Да я-то при чем же тут?

Васенька.

Что мне до шумного света,
Что мне друзья и враги...

Теперь бы хорошо мочененького яблочка. Душа после вчерашнего ноет. Порфирий, скажи бабушке, чтобы моченых яблочек...

После 1881 г.

ПРОСТО СЛУЧАЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Иван Петрович Вихров, купец, 50 лет.
Настасья Климовна, его жена.
Дарья Спиридоновна, двоюродная сестра его.
Акулина Андреевна, купчиха, вдова.
Петр Амосович, обедневший купец, проживающий в доме Вихрова.
Щурков, неопределенная личность.
Кухарка в доме Вихрова.

ЯВЛЕНИЕ I

Настасья Климовна сидит за столом и плачет.
Дарья Спиридоновна входит.

Настасья Климовна. А уж я, матушка, за тобой посылать хотела.

Дарья Спиридоновна. Что это вы, сестрица? Что с вами?

Настасья Климовна. Нужна ты мне больно. Садись-ка.

Дарья Спиридоновна. Крестник вам кланяется, сестринька. Ведь уж он у нас, сестрица, на покров стал дыбочек стоять... А я все эти дни-то измучилась, сестринька. Ведь у меня внизу жилец третий месяц ни копеечки не платит.

Настасья Климовна. Что твое горе, кумушка!.. Моего-то ты горя не знаешь.

Дарья Спиридоновна *(с удивлением)*. Да что у вас такое?

Настасья Климовна *(сквозь слезы)*. Ведь Иван-то Петрович четвертый день домой глаз не показывает.

Дарья Спиридоновна. Что вы? Да как же это?

Настасья Климовна. Так. Уехал к городовому[1] да вот...

Дарья Спиридоновна. На своей лошади-то?

Настасья Климовна. На своей. Да и лошади-то нет. Бог знает, что с ним делается теперь. *(Плачет.)*

Дарья Спиридоновна. Что ж вы так убиваетесь-то, сестрица? Его дело мужское: может, что и нужное делает.

Настасья Климовна. И ведь никогда с ним этого не было. Вот двадцать лет живем — впервой такая оказия.

Дарья Спиридоновна. Вы бы, сестрица, на картах разложили.

Настасья Климовна. Раскладывала, да ничего не действует. Веришь ли богу, кумушка, вся душенька-то у меня выболела. Чего-чего уж я не придумала: и убили-то его, и утонул-то он, и с Ивана Великого как не упал ли...

Дарья Спиридоновна. Что это вы какая мнительная! Молоденький, что ли, он?.. Пойдет он на Ивана Великого!.. Его и на парадное крыльцо ведут под руки...

Настасья Климовна. Да ведь все может быть... Вот нонче сон опять какой страшный...

Дарья Спиридоновна. А вы что видели, сестрица?

Настасья Климовна. Ох!.. Вот вишь ты: будто бы я стою на горе...

Дарья Спиридоновна. Да-с.

Настасья Климовна. Только будто бы Иван-то Петрович пьяный-распьяный стоит да на меня пальцем грозит.

Дарья Спиридоновна. Ишь, страсти какие!

Настасья Климовна. А лошадь-то будто бы...

Дарья Спиридоновна. Вы бы, сестрица, к Ивану Яковлевичу съездили. Я к нему за всяким делом хожу. Вот, бывало, мой покойник запьет — я и к нему. Быва-

---

[1] Городовыми называются иногородние купцы в Москве. — *И. Г.*

ло, только и спросишь: «Иван Яковлевич, что будет рабу Симиону?» Сейчас скажет али так на бумажке напишет.

Настасья Климовна. Боюсь я одного, кумушка, как он да нехристианскою смертью помер-то. *(Плачет.)*

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и Акулина Андреевна.

Настасья Климовна. Матушка, Акулина Андреевна, не знаешь ты моего горя... не пожалеешь ты меня...

Акулина Андреевна. Пожалела бы я тебя, когда бы не так глупа была.

Настасья Климовна *(вскакивая со стула)*. Да вы разве, голубка, слышали что?

Акулина Андреевна. Это вот ты тут на боку-то лежишь, а я все документы разведала.

Настасья Климовна *(бросаясь к ней)*. Матушка, успокой ты меня, скажи, что с ним сделалось? Какой он смертью-то помер?

Акулина Андреевна. Еще он нас с тобой переживет... Да кабы на мой ндрав такие дела, да я бы его... На что это похоже? Пристало ли старику?..

Настасья Климовна. Да где же он?

Акулина Андреевна. Да у меня волос дыбом стал, как мне сказали... И ты дура будешь, если не сделаешь по-моему. Да я бы из его бороды весь пух выщипала! Он, матушка ты моя, не тебе будь сказано, изволит в Марьиной роще с цыганками...

Настасья Климовна. Ах!..

Акулина Андреевна. Все с себя пропил. Лошадь-то ваша теперь в депе, вчера в депо взяли: пьяный Тимошка задавил кого-то.

Дарья Спиридоновна. Что это вы, Акулина Андреевна, во сне или к зубам? Да разве братец пьет?

Акулина Андреевна. Уж молчи, коли тебя бог обидел... Потакай пьяницам-то! Твой такой же сокол был, вспомни-ка, сколько раз...

Дарья Спиридоновна. Уж вы всегда бедных-то людей...

Акулина Андреевна. Да ты роли-то не представляй! *(Обращаясь к Настасье Климовне.)* Ну, что ты,

матушка, стоишь-то? Одевайся. Тащи его домой да опозорь его хорошенько, да в бороду-то ему наплюй при всем честном народе, чтоб он блажь-то в голову не запускал.

Дарья Спиридоновна. Что ж, сестрица, поезжайте! Может, с братцем, в самом деле, какое несчастье; он вас-то скорей послушает.

Настасья Климовна. А ну, как он да без нас сюда приедет?!

Акулина Андреевна. Точи лясы-то! *(Берет ее за руку и уводит.)*

ЯВЛЕНИЕ III

Кухарка *(из дверей)*. Что, матушка, искать поехали? Да уж где найтить! Ты, Спиридоновна, этому не дивуйся: это он от ней и бедствует-то. Я, матушка, у господ жила, да такой маи-то не привидывала. Бывало, барыня прикажет тебе распорядиться там, а эта день-деньской торчит все в кухне да по горшкам нюхает. А ругаться-то пойдет... да я такой обидчицы в жизнь мою не привидывала! И такая-то ты, и сякая-то ты... тьфу! Ведь у них, матушка, за что дело-то вышло: намедни сидят они так-то за чаем, а она ему все в уши: «Пиши, говорит, духовную: не ровен час — помрешь, меня по миру пустишь». А он так-то залился слезами: «Да что ж, говорит, ужли тебе, говорит, моей смерти пожелалось?..» Уж она у нас, матушка, такая клятая; у них и род-то весь такой. Вот когда сестра ее придет, семь разов в день самовар поставишь...

Дарья Спиридоновна. Вижу, красавица, сама вижу, какие она с ним язвы-то делает. Уж она испокон веку такая мытарка была, через ее милость и мы в бедность произошли. Это братца бог наказывает за то, что он родных не послушал, против нашей воли женился. Мы ему тогда говорили: «Погодите, братец, мы вам худа не желаем, свет-то ведь не клином сошелся, мы вам найдем невесту богатую, из хорошего рода». — «Нет, говорит, не могу с своим сердцем управиться». Вот теперь и управляйся!

Кухарка. Да она, должно, приворожила его.

Дарья Спиридоновна. Нет, матушка, ему судьба такая, его опутали. Взял-то он ее в одном плать-

нишке; обул, одел ее, салопов ей разных нашил. Как поступила она в богатство-то — и давай мудровать! И то не так, и другое не так. Иван-то Петрович терпел-терпел, да с горя-то, должно быть, и запил.

Кухарка. Э!

Дарья Спиридоновна. Так мы, матушка, и обмерли! Да четыре года после этой оказии и курил. Чего-чего тогда с ним не делали, чем-чем не лечили...

Кухарка. Как же остановили-то?

Дарья Спиридоновна. А вот, вишь ты. Сидим мы так-то раз да и плачем. «Экое, — я говорю, — нашему роду пострамление!» А молодая-то хозяюшка стоит перед зеркалом да ломается. Я и говорю: «Что это, говорю, Настасья Климовна, неужели на тебе креста-то нет! Мы, говорю, все в таком несчастии находимся, а тебе и горюшка мало!» Она этак вывернулась фертом. «Мне-ста, говорит, что за дело? Я его не неволю пить-то...» Такое-то меня зло взяло! Я с сердцов-то и наступила на нее. «Да от кого ж он, говорю, пьет-то? Ты, говорю, в наш дом несчастье принесла!» Только мы кричим, а Иван-то Петрович что-то и застучал. Я к двери-то, думаю — не помер ли. А он, матушка ты моя, ходит по горнице да все руками отмахивается... так-то все отмахивает... Махал, махал, да как грохнется!.. И сделался вот, надо быть, мертвый. Как очнулся-то, и говорит: «Мне, говорит, было видение». Я и говорю: «Какое же вам, братец, было видение?» — «Не велено, говорит, сказывать. Все, говорит, можно сказать, только одного слова нельзя говорить».

Кухарка. Да, вот тоже, как я у господ жила, так барской камардин так-то помер, — запил тоже, да на другой день и очнулся. Стали его допрашивать, — все сказал, только одного слова недопросили.

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же и Амосович.

Амосович. Что, матушка, не слыхать ли чего?

Дарья Спиридоновна. Ах, Амосыч, пропала наша головушка! Ведь запил!

Амосович. В такую, знать, компанию попал... в пьющую... Эхма! Слабостям-то мы, матушка, больно подвержены; тешим плоть свою на сем свете, а об часе-то

смертном не подумаем. А ведь окаянному это на руку: он в те поры так за нами и ходит, так в греховные узы-то нас и опутывает.

Дарья Спиридоновна. Давно я тебя не видала, Петр Амосыч. Что дочка-то твоя?

Амосович. Ничего... живет. Видел намедни в соборе. Хотел было подойти, да боюсь — огорчишь, ведь барыня; против других совестно будет, вишь я какой! А то вот зимой-то ходил с ангелом поздравить, да на глаза-то не приняла. «Гостей, говорит, много». Посидел там у них в кухне, погрелся. Спасибо, кухарка у них такая добрая, рюмочку поднесла да обедать с собою посадила... А экономка с лакеем двугривенничек выслала... все добрые люди, матушка. Вот теперь хоть бы Иван Петрович: фатерку мне дает, все у меня свое тепло есть, а то, зимнее-то дело, ложись да помирай. Что говорить, матушка, не легко есть чужой хлеб, коли сам народ кормил... Совестно, матушка! Иной раз пораздумаешься — кусок в горло нейдет...

Дарья Спиридоновна. Что ж вы у дочери-то не живете? Неужели на ней креста-то нет, что она вас на старости и согреть не хочет? Неужели она не боится божеского наказания?

Амосович. Ну, бог с ней! Ведь бог все видит!.. Отец и денно и нощно пекся об ней, а она против родителя... Захотелось вишь благородной, барыней быть захотелось!.. Ведь она, матушка, без моего благословения с барином под венец-то пошла. *(Плачет.)* Да я ей, матушка, и то простил. Я ей все отдал, все, что еще старики накопили, я ей отдал. На, дочка, живи да нашу старость покой, а она... ну, бог с ней! Ты подумай, матушка, кабы я пьяница был...

За сценой голос Ивана Петровича: «В гостях хорошо, а дома лучше».

ЯВЛЕНИЕ V

Вихров очень навеселе и Щурков.

Вихров. *(входя)*.

Ты, Настасья, ты, Настасья,
Отворяй-ка ворота.

Вот мы к тебе вся компания!

Амосович. Эх, Иван Петрович, на старости ты лет...

Вихров. Что ты мне можешь препятствовать? Вон сейчас! Ты моей милостью на свете живешь. Я тебя с лица земного сотру! Вон!

Дарья Спиридоновна. Ее нет, братец.

Вихров. А, сестрица любезная! А где жена?

Дарья Спиридоновна. Ее нет, братец.

Вихров. Зачем же ты на мои глаза показалась?

Дарья Спиридоновна. Я навестить вас пришла, братец.

Вихров. Ладно, ступай в свое место. *(Обращаясь к Щуркову.)* Ну, ты, прощалыга! Представляй киятры.

Щурков. Это можно-с, только гитарки-то нет-с.

ЯВЛЕНИЕ VI

Настасья Климовна *(вбегает)*. Да что это ты, батюшка, вздумал на старости лет крамбольничать-то?

Вихров. Молчать! Ходи в страхе! Топну ногой — понимай, что значит.

Настасья Климовна *(к Щуркову)*. Ты что за человек?

Вихров. Гони его в шею — это грабитель.

Щурков. В гости звали, да и гнать-с!

Вихров. Сволочь! Вот как мы об тебе понимаем. *(Опускает голову на стол.)*

Настасья Климовна. Вон, вон!..

Щурков. Конечно, сударыня, средства мои не позволяют мне быть хорошо одетым, но и в несчастном положении я сохранил благородные чувства. Конечно, благодетель мой в таком виде и отрекомендовали меня...

Настасья Климовна. Ступай, ступай!

Щурков. Позвольте мне, как благородному человеку, просить рюмку водки.

Настасья Климовна. Да с чего ты взял? Пришел в чужой дом незваный и непрошеный...

Щурков. В таком случае позвольте мне с вами проститься.

Настасья Климовна. Прощай, батюшка, ничего...

Амосович. Ступай, коли говорят, ступай...

Щурков подходит к Настасье Климовне и протягивает ей руку.

Настасья Климовна. Это ты что еще выдумал?

Щурков. Я уважаю вас как строгую женщину, а потому прошу позволения поцеловать вашу руку.

Настасья Климовна. Нет, батюшка, мы отродясь такими делами не занимаемся.

Щурков. Как вам угодно-с. Впрочем, если вам не будет составлять беспокойства, позвольте мне рюмку водки.

Настасья Климовна. Вон!

Щурков медленно уходит.

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же, без Щуркова.

Вихров *(подымая голову)*. А где мои гости? Давай нам музыку. Аленка, валяй вприсядку.

Ты, Настасья, ты, Настасья,
Отворяй-ка ворота...

Настасья Климовна. Опомнись, Иван Петрович...

Вихров. Прочь! Где моя подруга жизни?

Настасья Климовна. Досталось твоей подруге-то жизни; тебя бы...

Вихров. Меня? Не смей!.. Меня грабить!.. Я загулял, а меня грабить!.. Дарья Спиридоновна, я в Марьину рощу попал, а за что они меня били? Деньги были мои... три тысячи серебром денег-то было... За что они меня били?..

Все. Кто же тебя бил-то?

Вихров. Все меня били!.. Тимошка, ты хочешь лошадь пропить, потому хозяин этого чувствовать не может... Врешь!.. Меня ограбили!.. Меня ядом напоили, я помереть должен!.. Я пропащий человек! За что они меня били?.. Цыганка... она меня у... уду... удушить хотела... За что они меня били? *(Опускает голову на стол.)*

Дарья Спиридоновна. Должно быть, сестрица, и впрямь его опутали.

Настасья Климовна. За что же они его били-то?

Амосович. Такая уж компания... пьющая!

Дарья Спиридоновна. Да ничего, сестрица. С моим покойником часто бывали такие оказии-то. Пройдет!

«Отечественные записки» № 9, 1855 г.

С ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЕЙ

Сцены

(Сцена представляет трактир в московском захолустье. За столом сидят купцы, мещане, мастеровые и т. п.)

— С широкой масленицей имею честь поздравить!

— И вас также.

— Масленица — сила большая! Наскрозь всю империю произойди — всякий ее почитает. Хотя она не праздник, а больше всякого праздника. Теперича народ так закрутится, так завертится — давай только ему ходу!.. Сторонись, пироги: блины пришли! Кушай душе на утешенье, поминай своих родителев!

— Да, уж именно... увеселенье публике большое!..

— Вчера наш хозяин уже разрешение сделал: часу до четвертого ночи портером восхищались.

— Православные, с широкой масленицей! Дай бог всем! Теперича масленица, опосля того покаяние! Ежели, примерно, воровал али что хуже — во всем покаемся и сейчас сызнова начнем. Все люди, все человеки! Трудно, а бог милостив! Мне бы теперь кисленького чего... я бы, может, человек был...

— Бедный я человек, неимущий гражданчик, можно сказать — горе горецкое, а блинков поел!.. Благодарю моего господа бога! Так поел, кажется...

— Дорвался!

— Дорвался! Верное твое слово — дорвался. Штук тридцать без передышки! Инда в глазах помутилось!..

— Что ж, ведь обиды ты никому не сделал...

— Кухарку, может, обидел, заставил стараться, а то никого...

— Семен Иваныч, блины изволили кушать?

— Да я крещеный человек аль нет? Эх ты... образование!..

— Что у вас: сюжет насчет масленицы? Так я вам могу доложить, что супротив прежних годов обстоятельства ее оченно изменились, и ежели где справляют ее по-настоящему, так это у папы рымского, но только, между прочим, заместо блинов конфеты едят.

— Тьфу! Разве может конфета против блина выстоять?

— Блин покруче конфеты; как возможно!.. Конфете с человеком того не сделать, что блин сделает.

— Блин, ежели он хороший, толстый да его есть без разума, — об душе задумаешься.

— Человеком! Иному ничего, ешь его только с чистым сердцем.

— Я больше со сметаной обожаю...

— И сейчас это папа рымский выдет на балкон, благословит публику с широкой масленицей, и сейчас все начнут действовать, кто как умеет: которые колесом ходят, которые песни поют, которые на гитаре стараются, а которые в уме помутятся — мукой в публику кидают, и обиды от этого никому нет, потому всем разрешение, чтобы как чудней. Огни разложат... Превосходно...

— В старину и у нас было весело. Идешь, бывало, по улице-то — чувствуешь, что она, матушка, на дворе... Воздух совсем другой: так тебя блинами и обдает, так тебя и обхватывает... На последних-то днях одурь возьмет.. Постом-то не скоро и на путь истинный попадешь...

— После хорошей масленицы человек не вдруг очувствоваться может: и лик исказится, и все...

— С широкой масленицей! Можно мастеровому человеку себе отвагу дать? Господа купцы, есть я мастеровой человек и, значит, трудящий... Можно ему? Какой мне от вас ответ будет? Вот вы и не знаете... А я вам сейчас предъясню... Масленица для всех приустановлена. Видите! И значит, я должен все порядки соблюсти. Верно я говорю? Наскрозь всю масленицу! Без купцов нам жить невозможно, голубчики... Не осудите меня. Запили заплаты, загуляли лоскутки...

— В балаганах-то теперь стон стоит...

— Уж теперь народ сорвался...

— И что значит этот блин... лепешка и больше ниче-

го. А вот ежели нет его на масленице — словно бы человек сам не свой.

— Уж бедный который и тот...

— Семен! Графинчик да поподжаристей пятачок, только чтоб зарумянил хорошенько.

— А ведь за масленицу-то одолеют эти блины... Мы с понедельника благословились...

— У нас, бабушка, вперемежку: день блины да день оладьи — оно и не так чувствительно.

— У меня к блинам больше пристрастия. Снеток, ежели хороший...

— С луком тоже прекрасно... Глазками его нарезать... аромат...

— У нас Домна Степановна кадушку-то сперва-наперво холодной водой сполоснет, положит муку-то да молитвы начнет шептать, так у ней блин-то... Господи!.. Так сам тебе в душу и лезет. В понедельник архимандрита угощали. «Ну, говорит, Домна Степановна, постный я человек, а возношу вам мою благодарность». А дьякон только вздыхал...

— От хорошего блина глаза выскочат. А вот я посмотрю на господ... Какие они к блинам робкие: штуки четыре съест и сейчас отстанет...

— Кишка не выдерживает!

— Наш лекарь Василий Петрович сказывал: «Кто ежели, говорит, мозгами часто шевелит, значит, по книгам доходит али выдумывает что — тому блины вред. Потому, говорит, разнесет человека, распучит, воздуху забрать в себя не может, ну, и конечно, действоваться уж и не может...»

— А вот мы не думамши живем, а, слава тебе господи, не хуже других! И капитал скопировали и народ по своим достаткам кормим... Богу он за нас молит. И какое есть нам от бога положение — блины, все прочее...

— У нас без сумления...

— Да об чем сумлеваться-то? Один раз живем.

— Маланья Егоровна по корпусу-то своему — свинья сущая, едва ходит, с лестницы под руки водят, а какой ум в себе имеет. Намедни протопопу какое слово брякнула. Камилавку снял. «Ну, говорит, мнение ваше необыкновенное...» А ведь никаких книг не читала и ни об чем никогда не думала, а уж, значит, бог вложил... Любопытно это, с учителем она вчера за блинами сцепилась

насчет разговору. Тот говорит: «У вас, говорит, в помышлении все насчет еды...» А она говорит: «Мы, говорит, творим еже предуставлено. Как старики наши жили, так и мы живем. Вы, говорит, кушайте во славу божию, коли епекит у вас есть, а нашим порядкам не мешайте. Вы, говорит, молодой человек, а я в Киеве была, и у Соловецкого сподобилась...» Тот прикусил язык-то да так и остался.

— Оборвать следовало. Человек за блинами, плоть этого требует, а он с пустыми словами.

— Слова самые пустые, нестоящие... Человеку надо раздышаться, тогда с ним говори...

— Бывало, теперешнее дело, под Новинским стон стоит...

— Мелок народ стал...

— То есть, так народ измельчал, хуже быть нельзя...

— Под другие нации больше патрафляют... От родителев-то какие порядки заведены, бросили, а в новых-то запутались. Форму-то, значит, потеряли: купец не купец, барин не барин, а так, примерно...

— Всё одно — ничего.

— Верно ваше слово — ничего! Оттого и масленицы настоящей нет и соблюдать ее некому.

— Ваше степенство, мы соблюдаем! Видите... До последнего грошика все пропил... Вот что значит московский мещанин!.. Вы души нашей не знаете... У нас душа вот какая — графин на стол... Живо!.. Запили заплаты, загуляли лоскутки...

«Новое время», 6 февраля 1882 г.

«СПРЯТАЛСЯ МЕСЯЦ ЗА ТУЧИ»

Монолог

Вот она, жизнь-то моя, какая! Капиталу много, а тоски и еще больше! *(Поет.)*

Спрятался месяц за тучи,
Больше не хочет гулять.

Кабы в этом разе цыганов не было — помирать бы пришлось. Фараоны, в линию! Конокрады, по местам!

Спрятался месяц за тучи,
Больше не хочет гулять.

За любовь претерпел! Так нашего брата, дурака, и надо. Отдай деньги, да и пошел прочь! Поцелуй пробой, да ступай домой. То есть так обидно, кажется... Фараоны! Веселую!

Ай береза, ты моя береза!

Иду я довольно равнодушно по улице, никого не трогаю, смотрю: из окна высунулась барышня... Словно она меня кипятком ошпарила. Тут, думаю, вся моя погибель!.. Все свои глупости бросил, только по три раза на день в цирульню завиваться ходил, на лик красоту наводил. Собаку ихнюю приучил, чтобы не лаяла, а с кухаркой дружбу завел, чтобы записки носила. Путался, путался — надоело: сваху подослал. Приняли меня отличнейшим манером. Дяденька ихний стал со мной в трынку играть, а маменька с дочкой на фортопьянах меня учить, а опосля того маменька приказали дом в голубую окрасить. «Очень я, говорит, нежный цвет люблю». Что этой

слякоти сродственников повылезало — все на мой счет. Жри! Купец заплатит!.. Порешили — опосля ярманки свадьба. Проводили меня в Нижний честь-честью. Маменька два раза плакать принималась, спирт для воодушевления нюхала. Такая в Нижнем-то меня тоска взяла; подойду к буфету-то, посмотрю, как бутылки стоят, да и прочь — боялся сорваться на прежнее положение. Насилу дотерпел до конца ярманки. Приехал в Москву, завился и сейчас к невесте. Не дождались меня — за поверенного выдали! Как чумовой я бросился в Грузины, да две недели без просыпу там и орудовал. От коньяку шею свело!.. Два протокола составили! В тюрьме сидел за безобразие! В сером пальте ходил! Одно только теперича и осталось... Фараоны, в линию! Конокрады, по местам...

Спрятался месяц за тучки,
Больше не хочет гулять...

«Нива» № 14 1874 г.

В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ

Говорят, — «не в деньгах счастье», а это, по нашему рассуждению, пустые бабьи слова: в деньгах все счастье, вся сила в них. Другому, по его положению, цена грош, нестоющий он никакого внимания, а ежели ему такая фортуна выдет: к хозяину в выручку хорошо слазит или другой какой оборот фальшивый сделает, — ему сейчас и цена высокая. Да вот на моей памяти случай был: хозяйская дочь мальчика, без роду, без племени, с улицы в дом привела, грамоте его обучила, а как стал подрастать, сейчас его к должности определила, спервоначалу хозяйские сапоги чистить аль там салопы в театре стеречь, а после к лавке приставили. Смотрим, паренек выходит шустрый; за получкой ежели небольшой к покупателю пошлешь, — из души вытянет. И такое ему дал бог насчет этого понятие, как с покупателя деньги стребовать, даже нам было удивительно!.. Выровнялся паренек и стал во всей форме, хозяева стали его с собой за стол сажать, а там и приказчиком сделали. Хозяйка было уж ладила за него дочь отдать — кривобоконькая у них она была, никто не брал, — только анбиция купеческая не позволяла: как есть из ничтожных людей, голый мещанин. А тот взял это себе сейчас в понятие и говорит хозяину: «Вся ваша воля, а существовать без вашей дочки я не могу». А та к матери: «Как угодно, говорит, в своем саду на яблоне удавлюсь, если за него не отдадите». Подумали хозяева, со сродственниками посоветовались. Один сродственник и говорит: «Товар, сами видите, не первосортный, за стекло не выставишь. Отдавайте как есть. Вы его благодетели, и будет он для вас стараться. Делать нечего». Обручается раб божий Василий на рабе божией Гликерии... И фукнул через три года этот раб божий Василий своего тестя, раба божия

Тарасия, по-родственному, и так фукнул, что от него только пух полетел, и супругу свою назад к родителям прислал. Извольте обратно получить, больше не требуется... ублаготворен; промежду арфистками не в пример есть красивее. Обругали его в публике спервоначалу разными словами, а опосля опять в хорошие люди записали. Придет он в клуб, сядет за стол, выставит бутылку шампанского да, как перепелов, на нее мимоходящую публику и наманивает. «Милости просим стаканчик». — «Покорнейше благодарим, очень приятно». И так превозвысился на хозяйские деньги, благотворительным членом где-то сделался, в депутациях разных стал ходить, слова за обедом говорить, на бег своих рысаков выпущать, в трактире комнату велел на свой вкус отделать, чтоб ему там с арфистками завсегда присутствовать, арапа какого-то заблудящего в холуи нанял, смотри — в банке директором сел. Все около него так и вьются, так и корчатся. Сила! И стал он подчищать этот банк, сначала помаленьку, пока в настоящую делов не распознал, а там пошибче, а там уж и в газетах стали печатать, что в банке дело не чисто, — года два печатали, — а деньги там все подсылали. Кто-то догадался — внезапную назначили. Собралась эта внезапная во французском ресторане, сговорилась, как действовать, и налетела в банк. «Пожалуйте книги». — «Извольте получить». — «Позвольте освидетельствовать наличность». — «Мы наличности не касались, мы подписывали; наличностью заведовал Василий Сергеевич». — «Василий Сергеевич, позвольте наличность». Только нос обтер — вот тебе и наличность... И завизжали вкладчики на двенадцать голосов. Потащили директора в суд. Прокурор говорит: «Расхитил чужую собственность, тяжким трудом и лишениями скопленные бедным народом деньги». Защитник говорит: «Никак невозможно, чтобы человек, сам вышедший из народа, воспитанный в благочестивом купеческом семействе, решился на мошенничество. Тут какое-нибудь недоразумение». Присяжные говорят: «Воровал с полным разумением». Суд говорит: «Лишить его всех особенных прав». А директор себе говорит: «Все права мои при мне, в кармане, а особенных мне не надобно». Свезли его в места не столь отдаленные, и живет он там припеваючи, приговаривая: «Чудесно в сих отдаленных местах жить с деньгами».

«Осколки», № 44 1884 г.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВА ПРИКОСНОВЕНИЯ К ЧУЖОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Рассказ

Большая зала. Стол покрыт зеленым сукном. На столе против председательского места изящная малахитовая чернильница и колокольчик; против места членов правления — бумага и карандаши. Зала переполнена публикой. Раздается звонок председателя. Все занимают места.

— Имею честь объявить общее собрание открытым. Первый и главный вопрос, который будет предложен вашему обсуждению, это увеличение содержания трем директорам; второй — сложение с кассира невольных прочетов; третий — предание забвению ввиду стесненного семейного положения неблаговидного поступка одного члена правления; четвертый — о назначении пенсии супруге лишенного всех особых прав состояния нашего члена; наконец, пятый — о расширении прав правления по личным позаимствованиям из кассы.

— Ого!

— Что это «ого»? Прошу вас взять назад это «ого». Я не могу допустить никаких «ого». Если вы позволите себе во второй раз делать подобные восклицания, я лишу вас слова. Все эти вопросы существенно необходимы ввиду особых обстоятельств, которые выяснятся из прений. Вам угодно говорить?

— Это я воскликнул «ого», и не с тем, чтобы оскорбить вас. Я сторонник расширения всяких прав и, услы-

хав вопрос о расширении прав правления, воскликнул «ого». Это значило — я доволен.

— В таком случае я беру назад свое замечание.

— Прошу слова. Как ежели директор, хранитель нашего портфеля, обязанный, например, содействовать... и все прочее... А мы, значит, с полным уважением... и ежели теперича директор, можно сказать, лицо... Я к тому говорю: по нашим коммерческим оборотам...

— Вам что угодно сказать?

— Я хочу сказать, когда, например, затрещал Скопинский банк...

— Вы задерживаете прения и ставите их на отвлеченную почву. Нельзя ли вам просто выразиться, так сказать, реально: да или нет.

— Когда, например, разнесли Скопинский банк, ограбили вдов и сирот... может, и теперь сиротские-то слезы не обсохли...

— Все это верно, но эти слезы — область поэзии. Правлению никакого дела нет до сиротских слез. Позвольте вам повторить мое предложение — стать на реальную почву.

— Мы не знаем этой вашей почвы, а грабить не приказано.

— Стало быть, мы грабили? Правление общества обращается с протестом к общему собранию.

Голоса:

— Вон его! Вон!

— Милостивые государи! Я позволил бы себе так понять это столкновение. Почтеннейший член не совсем уяснил себе предложение председателя, не понял, так сказать...

— Как не понять! Я говорил насчет грабежу. У нас от этого правления в одном кармане смеркается, а в другом — заря занимается.

— Господа! Ревизионная комиссия...

— В милютинских лавках устрицы ест ваша ревизионная комиссия.

— Господин председатель, прекратите этот печальный эпизод и позвольте продолжать прения. Я прошу слова. Если провести демаркационную линию между правлением и вкладчиками...

— Милостивые государи! Я прошу, я требую, я на-

стаиваю, чтобы общество выразило порицание члену, оскорбившему нашего председателя.

Голоса:

— Баллотировать! Шарами! Простым вставанием... *(Шум.)*

— Я ставлю вопрос на баллотировку простым вставанием. (*Считает.*) Раз... два... семь... десять. За выражение порицания десять. *(За правленческим столом некоторое смущение.)* Прошу приступить к прениям.

— Милостивые государи! Вопрос об увеличении содержания весьма важен. К важным вопросам нельзя относиться халатно. Я полагал бы этот вопрос оставить без обсуждения и передать его в комиссию.

Голоса:

— В комиссию! В комиссию!

— Невольные прочеты с кассира взыскать или передать их в ведение прокурорского надзора, а о неблаговидном поступке одного из членов правления приступить к прениям. Нельзя ли нас познакомить с неблаговидным поступком члена правления?

— С юридической точки зрения поступок этот... наша юстиция очень резко разграничивает деяния, совершенные...

— Стащил, вот тебе и юстиция...

— Совершенные по злой воле... Принимая во внимание семейное положение...

— Ну, стащил, это верно!

— В терминологии нашей юстиции нет слова — стащил.

— Ну, можно нежнее сказать: украл.

— Господа, где мы и что мы? Нас пригласили в общее собрание и хотят выворотить наши карманы. Нам предлагают увеличить директорам содержание. За что? Нам предлагают прикрыть хищение кассира. Почему? Нас просят предать забвению какой-то мерзкий поступок члена правления. Просят отереть пенсией слезы супруги лишенного прав состояния хищника; наконец, ходатайствуют о расширении прав членов правления...

— Отдай им сундук с деньгами, а они туда тебе заместо их бронзовых векселей наворотят... Чудесно!

— Бронзовые, как вы изволили выразиться, векселя нисколько не отягощают кассу; если... *(Сдержанный смех.)* Позвольте мне докончить...

— Позвольте вас остановить. Бронзовые векселя не имеют ничего общего с предложением об увеличении директорам содержания. А так как этот вопрос довольно прениями исчерпан, то я ставлю его на баллотировку. Не угодно ли вам, милостивые государи, приступить к баллотировке по вопросу об увеличении господам директорам содержания? Предупреждаю вас, что отказ ваш весьма невыгодно повлияет на наше прочно установившееся общество...

Страшный шум. Председатель звонит изо всех сил и закрывает собрание.

«Новое время», 26 февраля 1883 г.

ТЕНЕРИФ

Рассказ купца

Какое вчерашнего числа с нами событие случилось!.. Просто на удивленье миру! В нашем купеческом сословии много разных делов происходит, а еще этакой операции, так думаю, никогда не бывало... Зашли мы к Москворецкому мосту в погребок. Нам сейчас новый прейскурант поднесли. Иван Семеныч взял, читает:

«Давно желанное слияние интеллигенции с капиталом в настоящее время уже совершается. Интеллигенция идет навстречу капиталу. Капитал, в свою очередь, не остается чужд взаимности. В этих видах наша фирма настоящего русского шампанского и прочих виноградных вин к предстоящей масленице приготовила новую марку шампанского, небывалую еще в продаже и отличающуюся от других марок своею стойкостью и нектаральным вкусом.

Москворецкий монополь, № 1. Игристый.

№ 2. Самый игристый, пробка с пружиной. При откупоривании просят остерегаться взрыва.

№ 3. Пли! Свадебное.

№ 4. Нижегородский монополь с красным отливом. Высокий.

В нашем же складе продаются следующие иностранные вина:

Борисоглебская мадера с утвержденным этикетом, местного разлива.

Херес Кашинский в кувшинах — аликан, старый.

Ром Ямайский. Тройной. Жестокий.

Тенериф купца Зайцева...»

Вот на тенериф-то мы и приналегли и так свои лики растушевали, такие колера́ на них навели, что Иван Семеныч встал да и говорит: «Должен я, говорит, констатировать, что все мы пьяные и по этому прейскуранту пить больше нам невозможно, а должны мы искать другого убежища». А сам плачет. Мы испугались, а приказчик: «Не сумлевайтесь, говорит, это от тенерифу: эту марку немногие выдерживают, потому он в чувство вгоняет человека».

Вышли мы, сели на тройку и взвились поперек всей Москвы. По сторонам народ так и мечется, не может себе в понятие взять, что, может, вся наша жизнь решается. Городовые свистят... Околоточные озираются... Иван Семеныч плачет навзрыд... Яша кричит ямщику: «Вези прямо к мировому: все равно завтра к нему силой потащат...»

Приехали в Стрельну, сделали там что-то такое, должно быть, нехорошее. Помню, что шум был большой, арфистка плакала, околоточный протокол составлял.

Через три дня — пожалуйте!

Вышел мировой, солидный человек, седой наружности.

— Не угодно ли вам, господа стреленские, сюда к столу пожаловать?

Публика... Срам!..

— Швейцар, расскажите все, как было.

Тот сейчас показывает на меня:

— Они мне, говорит, ухо укусили.

— Не помню, говорю. Да ежели бы и помнил, так неприятно об этом рассказывать. В исступлении ума находился от тенерифу.

— А вы зачем этот тенериф пьете?

— Зачем начальство допущает этот тенериф в продажу? Потому от его не токма́ что ухо, а и человека загрызть можно.

— А он что делал? — показывает на Ивана Семеныча.

— Не могу, говорит, при публике доложить. Все прочие, которые только шумели, а они... просто, говорит, выразить не могу.

Потом писал, писал этот мировой...

— Прошу, говорит, встать.

Все встали.

По указу... там все прочее... На две недели посадил в казенном халате ходить...

Иван Семеныч:

— Ну, а ежели у меня, говорит, две медали на шее?

— Жалко, говорит, вы раньше не сказали: я бы вас на месяц посадил.

Вот тебе и тенериф! Из-за пустого дела какой срам вышел...

«Осколки» № 6, 1884 г.

ТРАВИАТА

Рассказ купца

А то раз мы тоже с приказчиком, с Иваном Федоровым, шли мимо каменного театру. Иван Федоров почитал-почитал объявление.

— Понять, говорит, невозможно, потому не нашими словами напечатано. Господин, что на афишке обозначено?

Прочитал. Говорит:

— «Фру-фру».

— В каком, говорим, смысле?

— Это, говорит, на ихнем языке обозначает настоящее дело.

— Так-с! Покорнейше благодарим... Господин городовой, вы человек здешний, может, слыхали: как нам понимать эту самую «Фру-фру»?

— Ступайте, говорит, в кассу, там все отлепортуют.

Пришли в кассу.

— Пожалуйте два билета, на самый на верх, выше чего быть невозможно.

— На какое представление?

— «Фру-фру».

— Здесь, говорит, опера.

— Все одно, пожалуйте два билета, нам что хошь представляй. Иван Федоров, трогай! Ступай!

Пришли мы, сели, а уж тальянские эти самые актера действуют. Сидят, примерно, за столом, закусывают и поют, что им жить оченно превосходно, так что лучше требовать нельзя. Сейчас госпожа Патти на-

лила стаканчик красненького, подает господину Канцелярии:

— Выкушайте, милостивый государь.

Тот выпил, да и говорит:

— Оченно я в вас влюблен.

— Не может быть!

— Верное слово!

— Ну, так, говорит, извольте идти куда вам требуется, а я сяду, подумаю об своей жизни, потому, говорит, наше дело женское, без оглядки нам невозможно...

Сидит госпожа Патти, думает об своей жизни, входит некоторый человек...

— Я, говорит, сударыня, имени-отчества вашего не знаю, а пришел поговорить насчет своего парнишки: парнишка мой запутался и у вас скрывается — турните вы его отседа.

— Пожалуйте, говорит, в сад, милостивый государь, на вольном воздухе разговаривать гораздо превосходнее.

Пошли в сад.

— Извольте, говорит, милостивый государь, сейчас я ему такую привилегию напишу, что ходить он ко мне не будет, потому я сама баловства терпеть не могу.

Тут мы вышли в коридор, пожевали яблочка, потому жарко оченно, разморило. Оборотили назад-то — я и говорю:

— Иван Федоров, смотри хорошенько.

— Смотрю, говорит.

— К чему клонит?

— А к тому, говорит, клонит, что парнишка пришел к ней в своем невежестве прощения просить.

— Я, говорит, ни в чем непричинен, все дело тятенька напутал.

А та говорит:

— Хоша вы, говорит, меня при всей публике острамили, но при всем том я вас оченно люблю! Вот вам мой патрет на память, а я, между прочим, помереть должна...

Попела еще с полчасика, да богу душу и отдала.

После 1881 г.

ОБ САРЕ БЕРНАР

В одном из петербургских клубов, в столовой, сидят несколько человек и ведут беседу.

— Приехала?

— Нет еще, в ожидании. Секретарь ихний приехал, орудует, чтобы как лучше... Книжку сочинил, все там обозначено: какого она звания, по каким землям ездила, какое вино кушает...

— Нашего, должно быть, не употребляет, потому от нашего одна меланхолия, а игры настоящей быть не может.

— По Невскому теперича мальчишки с патретами ее бегают...

— А какая у них игра: куплеты поют али что?..

— Игра разговорная. Очень, говорят, чувствительно делает. Такие поступки производит — на удивление!.. Ты то возьми: раз по двенадцати в представление переодевается!..

— Пожалуй, на чугунке встреча будет.

— Уж теперь народ разгорячился! Теперь его не уймешь! Давай ходу!.. Билеты-то выправляли — у конторы три ночи ночевали. Верно говорю: три ночи у конторы народ стоял, словно на святой у заутрени. Насчет телесного сложения, говорят, не совсем, а что игра — на совесть! Убедит! Дарья Семеновна на что уж женщина равнодушная, слов никаких понимать не может, а и та ложу купила.

— Которые ежели непонимающие...

— Да она не за понятием и идет, а больше для бли-

виру, образованность свою показать. Капитал-то виден, а все прочее-то доказывать надо.

— Сырой-то женщине, словно, не пристало...

— Пущай попреет, зато говорить будут: «Дарья Семеновна Сару Бернар смотрела». Лестно! Опять и цыганы-то в доме надоели. Ведь сам-то, окромя цыганов, никаких театров переносить не может. Ему чтоб дьякон многолетие сказывал, а цыганы величальную пели. В театре сиди, говорит, сложимши руки — ни выпить тебе по-настоящему, в полную душу, ни развернуться как следует; а цыганы свои люди — командуй, как тебе угодно.

— Ну да ведь не Рашель же, даже и не Ристори!

— Да ведь ты не видал ни ту, ни другую: как же ты можешь судить?

— Нет, видел... То есть, Рашель не видел, а Ристори видел.

— А Сару Бернар не видал: как же ты можешь их сравнивать?

— Да ты прочти...

— Что мне читать!.. Я обеих видел.

— Господа, я вас помирю. Когда здесь была Арну Плесси...

— Это к нашему спору не относится; мало ли кто здесь был. Он не признает Сару Бернар, а для меня она — высшее проявление драматического искусства.

— С вами спорить нельзя...

— Вы бы лучше бутылку велели, чем пустяки-то говорить. Каждый человек на своем месте. Что нам путаться в чужие дела. Давай бутылку...

— Нет, Иван Гаврилович, творчество великое дело!..

— Так что же?

— Поважней бутылки!

— Так ты поди с ним и целуйся, а нам не мешай.

— Я помню, когда Рашель произнесла свое знаменитое «jamais», — весь театр дрогнул!..

— В чем это?

— Теперь уж я не помню...

— Завели вы эти темные разговоры, ничего не стоющие. На языках на ихних вы производить не умеете...

— Да ведь вы ходите в итальянскую оперу, а языка не понимаете...

— Так что же! Это я только для семейства порядок

4*

соблюдаю. Жене с дочерью требуется, а мне одна тоска. Кабы буфета не было...

— Кабы у нас поменьше буфетов-то было...

— Что ж, ты думаешь — лучше? Буфет на потребу, без него нельзя... Прибежище!.. Все одно — маяк на море...

— Я вам скажу, что Сара Бернар...

— Да что, она тебе родня, что ли? Ну, дай ей бог доброго здоровья!..

— Ах, Иван Гаврилович, милый вы человек, а, извините меня, невежа.

— А ты выпей. Это тебя сократит, может, что поумнее скажешь. Хотя я невежа, это уж так богу угодно, а только я на чести: чего понимать не могу, об том и разговору не имею. Ты, может, четыре рихметики обучил, где ж мне с тобой сладить. Одно осталось — выпить с горя. Прости меня, господи!..

— Да вы не обижайтесь...

— Зачем обижаться...

— Сара Бернар действительно явление! Легко к ней относиться нельзя. Это дочь парижской улицы, как метко и справедливо сказано в одной газете. Ведь недаром же Европа и Америка преклонились перед ее дарованием.

— Пущай к нам приедет. Наши тоже разберут.

— В самом деле, небывалая вещь: отличный рисовальщик, изумительный скульптор и очаровательная актриса!..

— Вы помните Виардо?

— Она певица была!..

— Виноват, не Виардо, а как ее...

— Фанни Эльслер?

— Не записано ли у вас еще кого-нибудь в вашем поминанье-то? Валяй всех за упокой и за здравие.

— Василий, сходи к повару. Пусть он даст стерлядь à la Сара Бернар...

— Слушаю-с...

— Постой! Спроси у эконома: есть у нас в клубе вино, которое пьет Сара Бернар?

— Публика просто с ума сходит! Представьте, у театральной конторы по целым суткам стоит.

— А вы видели, на Невском показывают женские телеса, разными красками разрисованы? Стечение публики

тоже большое. Старичок один подошел к картинке-то, да так и замер. Что, думаю, дедушка, хорошо!..

— Это картина Сухаровского?

— Уж там я не знаю чья, но только... я вам доложу!.. Для набалованного человека, может, великое удовольствие, а для чистой души...

— То есть, такого русопета, как Иван Гаврилович...

— Я верно говорю! Соблазн! Ничего нет хорошего.

— А в Пеште-то она провалилась!

— Кто?

— Сара Бернар.

— Да ведь это газетная сплетня! Это ненависть венгерской прессы к России.

— Что тут общего: Сара Бернар и Россия!.. Что она, русская подданная, что ли?..

— А в Одессе не провалилась! А в Филадельфии не провалилась! Ну, пусть наши сыграют так, как Сара Бернар!..

— Ну, пусть Сара Бернар сыграет так что-нибудь из нашего репертуара...

— Повар не знает, как приготовить стерлядь — по-русски или паровую?

— Дура он! Ему сказано — à la Сара Бернар... Пусть что-нибудь покрошит... Ну, черт его возьми, давай паровую.

— А вина тоже нет.

— Глупо!

— А вы достали билет?

— Два посыльных, дворник да три пролетария у конторы три ночи ночевали и...

— И?..

— Шиш!..

— Однако!..

— Время-то она нехорошее выбрала... Летнее бы дело в «Аркадии» — публике-то полегче бы было, и ветерком обдует, и все... А в театре жарко...

— Поверьте, что ее слава газетами раздута...

— Не раздуешь, как раздувать нечего!

— Поверьте, все можно раздуть!

— Даром народ кричать «ура» не станет! Даром за каретой народ не побежит!..

— Я не побегу!

— А я побегу!

— Я не буду вас останавливать.

— А я не буду вас больше убеждать.

— Василий! Дай мне судака агратан.

— Господа, будемте справедливы, не будем на себя рук накладывать. Неужели русская актриса не может возвыситься до Сары Бернар! Неужели госпожа...

— Позвольте!

— Да не перебивайте же меня, дайте мне досказать. Неужели госпожа...

— Я знаю, что вы хотите сказать... Никогда не может! Все будет доморощенное, а не европейское. Язык не тот! С нашим языком только можно до Киева дойти, дальше он не действует, а по-французски говорит весь свет.

— При чем тут язык? Мартынов играл по-русски и заставлял перед собою преклоняться.

— Но не Европу!

— Нет! Европу! Лучших драматических художников Европы.

— Я вчера разговаривал с нашими театральными рецензентами. Все в один голос говорят, что раньше шестого декабря ничего нельзя сказать положительного.

— Когда здесь была Арну Плесси!..

— Честной компании!

— Василию Ивановичу! Откуда изволили?

— Из «Ливадии».

— Что сегодня — «Фатиница»?

— Черт ее знает! Мы в буфете сидели. Вот скандалище-то заворотили! Вот вертунов-то наделали! Околоточный два часа протокол составлял...

— Что долго? Стихами, что ли?

— На Сару Бернар достали?

— Нельзя же-с! Да я ведь только для шуму... Я люблю очень шум в театре. Этак у меня часто: пошлю артельщика с ребятами в воскресенье в театр, навалит их человек сорок. А от меня такое приказание: кто бы ни вышел — старайся! Такой шум заведут — страсть! Кричат bis, да и шабаш...

— Не угодно ли стаканчик?

— Спасибо, не хочется.

— В виде опыта — выкушайте.

— Право, не хочется...

— За здоровье Сары Бернар! Дай ей господи огреть хорошенько публику, а нам за нее порадоваться да поблагодарить за наставление, что она нами не побрезговала.

— Экой дикий народ-то! Печенеги!

— Дикий... верно! Деньги на темную ставим... Своего купеческого звания не роняем. Кто хошь приезжай — заплатим.

— Когда здесь была Арну Плесси...

— Это еще какая? Ты где сидишь-то, помнишь ли? Проснись!

— Пора домой... Я так удручен...

— Пьянехонек, верно! Иди потихоньку, а то все расплещешь... Итак, за ихнее здоровье!..

«Новое время», 1 октября 1881 г.

НАНА

Рассказ купца.

— Ну, какое же, Василий Иванович, теперича ваше положение опосля папашиной смерти?

— Хуже быть нельзя... острог! При тятеньке хоша и строгое положение было, а все терпеть можно, а теперь... Ты думаешь — я купеческий сын? Арестант я и больше ничего! При тятеньке, помнишь, в Париж раз с бухгалтером ездил, в Нижнем крутился... И не приберет ее господь царь небесный!

— Кого, сударь?

— Бабушку! Ведь она опекуншей назначена. Ну, и шабаш! Ни направо, ни налево! Сидит с монашенками, Бибелью али Чикминей по складам разбирают... То есть, завтра она умрет, а послезавтра я всему оставшемуся капиталу решение сделаю... весь капитал с радости пропью! Двух старцев теперича ко мне приставили для наставления. Один-то еще ничего... пьет, а другой, окромя кровоочистительных капель, ничего не трогает. Намедни они меня до того довели: «Бабушка, говорю, Маланья Егоровна, я очумею!» — «Это, говорит, тебе на пользу...» Веришь ты!.. *(Плачет.)* Под векселя никто не дает, опасаются — несовершеннолетний, а этого случая надо еще два года ждать. За это время она мне всю душу вымотает. Сестру тоже поедом ест... Ну, той ничего. Та девушка такая: за ней хоть в подзорную трубу смотри — ничего не увидишь.

— Ну, а дяденька как?

— Тот дурак! Только кажет-то умным, а заставь трем

свиньям щи разлить — не сумеет. Уж то возьми: в баню идет — медаль надевает! Дурак естественный! Я всех умней, всей нашей фамилии, но только я самый что ни на есть несчастный человек! Вот хошь бы теперь в беду попал — за что? Страм теперича пойдет по всему городу. Уж из «Санкт-Петербургского листка» приходили спрашивать. Дворник сказал, дома нет, скрывается.

— В чем же беда-то ваша?

— Видишь ты, милый человек: иду я по Невскому, смотрю — большое стечение публики. К городовому: «По какому случаю?» — «А по такому, говорит, случаю — картину рассматривают». А господин какой-то говорит: «Нана выставлена». Взошел, посмотрел — ничего нет удивительного, а как обнаковенно. Старичок только какой-то, в черненьком паричке, хотел рукой погладить, да не достал. И сейчас этот старичок оборотился ко мне с разговором: «Вы, говорит, еще не видали?» — «Нет», говорю. «А я, говорит, десятый раз смотрю и все налюбоваться не могу». — «Что ж, говорю, Бебелина чудесная». — «А вы, говорит, роман «Нана» читали?» — «Нет». — «Почитайте, вам, как молодому человеку, очень приятно будет. Там, говорит, все обстоятельства обозначены вовсю!» И глаз это у него так и завертелся. «И слова на их счет такие, что и пропечатать на нашем языке невозможно, надо по-французски». И вонзил он мне в самое сердце такой кинжал, как ни старался — не мог вытащить. Давай «Нана», да и шабаш! Книжку купил, пошел к одному знакомому приказчику в Перинную линию, хвастался, что умеет по-французски. Тот слов пять разобрал — бросил: не при нем писано. Ну, а мне все одно хошь умирать! И сказали мне, что в Казанской улице живет с матерью девица и французским языком орудовать может. К ней. Бедная, худая, волосы подрезаны в скобку; мать тоже старуха, старая, слепая... Видно, что дня три не ели... Грусть на меня напала! Вот, думаю, обделил господь. «Можете, говорю, перевести на наш язык французскую книжку?» Посмотрела. «Извольте», говорит. «Что это будет стоить?» — «Семьдесят пять рублей». — «Это, говорю, мне не в силах... За пятнадцать рубликов нельзя ли?» Она так глаза и вытаращила, а глаза такие добрые, чудесные... Инда мне совестно стало. «Вы, говорю, не обижайтесь: мы этим товаром не торгуем, цен на него не знаем». — «Я, говорит, с вас беру

очень дешево, и то потому, что нам с мамашей есть нечего», — а по щекам слезы, словно ртуть, скатились. Жалко мне ее стало, чувствую этакой переворот в душе. «Извольте, говорю, только чтоб перевод был сделан на чести, чтоб все слова и обстоятельства...» Покончили. Зашел как-то через неделю наведаться, смотрю — сидит, строчит. Матери не в зачет рубль дал на кофий. Покончила она все это дело да, не дождавшись меня, на Калашникову и приперла. Вошла в калитку-то, собаки как зальются — чужого народу к нам не ходит. А бабушку в это время в экипаж усаживали, в баню вести, бобковой мазью оттирать... Что за человек? Зачем? К кому? По какому случаю? Все дело-то и обозначилось. Уж они меня с дядей терзали, терзали, старцы-то меня точили, точили... Хотел удавиться! Сестра упросила глупости этой не делать. Бабушка взяла эту книжку и тетрадку да в печку бросила. И Нана, и все слова, и все обстоятельства — все сгорело!.. В четверг повестка к мировому! Бабушку за безобразие, меня, должно быть, за малодушие, а дядю, как он есть дикий, нескладный человек, за грубое обращение. Ищу адвоката. Был у одного, но не пондравился. «Чем, говорю, прикажете вас вознаградить, потому как всю нашу фамилию судить будут?» Встал этак, выпрямился: «Мне кажется, говорит, что опосля изобретения денежных знаков ваш вопрос совершенно лишний». В доме теперь смятение. Бабушка боится, что ее будут к присяге пригонять; дядя сумневается насчет своих слов нехороших, а я третий день дома не ночую — пью без просыпа...

После 1881 г.

НА ПОЧТОВОЙ СТАНЦИИ

Ночью.

— Ямщики! Эй, ямщики! Тарантас подъехал...
— Вставай... чья череда-то?..
— Микиткина...
— Микитка!.. Слышь!.. Микитка, гладкий черт! Тарантас подъехал...
— Сичас!
— Да как же ты теперича поедешь-то?
— А что?
— Ночью-то?!
— Ну?
— Так что же?
— По косогорам-то?
— Так тарантас-то вляпаешь!..
— Вляпаешь! Пятнадцать годов езжу да вляпаешь!..
— Ваше благородие! Тут у нас на седьмой версте к Озерецкому-то косогоры, так вот от поштового епартаменту обозначено, чтоб сумления не было...
— Помилуйте, ваше благородие, я пятнадцать годов езжу...
— Он те в загривок-то накладет...
— Наклал!.. Мазали чтолича?
— Смазано...
— Извольте садиться, ваше благородие! Эх вы, голубчики!..
— Смотри, осторожнее...
— Помилуйте, сударь, я пятнадцать годов езжу. Ямщики, известно, со смотрителем заодно... Смотрите-

лю только бы самовары наставлять, пользоваться... Тпру!!

— Что?

— Вот этот самый косогор-то и есть.

— Осторожней!

— Помилуйте, сударь, я пятнадцать годов езжу. Не извольте сумлеваться... Тпру!..

— Смотри!

— Точно, что оно, опосля дождя, тут жидко...

— Держи!..

— Господи, ужли в пятнадцать-то годов дороги не знаю...

Тарантас падает.

— Что ж ты, черт тебя возьми!..

— Поди ж ты! Кажинный раз на этом месте...

«Сцены из народного быта», 1874 г.

ГРОМОМ УБИЛО

Деревенские сцены

— Что тут за случай у вас?

— Беда!.. Теперь не разделаешься! Теперича, Лексеевна, все помрем!

— Я ни в чем непричинен: мы только идем, а он лежит...

— Где?

— У самого оврага. Растопырил глаза, да и лежит. Вот грехи-то! Вот грехи-то наши тяжкие.

— Я так полагал, что он греется на солнышке; думаю: пущай греется...

— Вот погоди — становой приедет.

— Что же становой?.. Становой ничего.

— Становой-то ничего?!

— Все помрем.

— Батюшки!.. Господи!..

— Бабы, смирно! Такой теперича случай, может, вся деревня отвечать будет, а вы визжите...

— Иван Микитич! Может грешная душа в рай попасть? Ежели она оченно грешная.

— Поди у попа спроси...

— Нет, ты мне скажи...

— Поди проспись прежде...

— Мужички почтенные! Становой ежели приедет — мы ничего не знаем. Петрухино это дело, он и отвечать должен.

— А теперича какое же ему разрешение?
— Кому?
— А Петрухе-то?
— Связать его теперича.
— За что?
— Как мир... мне все одно. По мне хоть беги...
— Я до него не касался: громом его убило.
— Громом?
— Громом, батюшка, громом!..
— Молоньей! Раз и — готово!
— Вот ежели громом, в таком случае ничего, а я полагал, драка промежду вас была.
— Какая, братец, драка! Промежду нас окромя что, бывало, он мне стаканчик поднесет, а то я ему...
— А мы, вишь ты, ловили рыбу. Он и подошел к нам. Посидел. «Словно бы, говорит, мне скучно. Третий день сердце чешется», — да и отошел от нас. Сидим мы под ивой — ветерочек задул, так махонький... ветерочек да ветерочек. Смотрим, по небу и ползет туча... от самого от Борканова. Так и забирает... Страсть! Подошла к реке-то... Как завыл этот ветер, как засвистели ивы, словно бы ночь темная стала. Сотворили мы молитву, да и сидим. И сейчас — раз! — гром, да опосля того молонья. И пошла, братец, и пошла... Индо сердце захолодело. И такой дождик полил... Свету божьего не видать. С полчасика или побольше мы сидели... Тише, тише... Солнышко показалось, и заметалась наша рыба, не успеваем червей надевать... Головли так и сигают... Во какие... Два ведра полных наловили. Сажать некуда было. Идем мимо оврагу-то, а он на самом бугре и лежит, руки так-то раскинул и лежит. «Смотри-ко... опосля дождя себя разогревает». Подошли, а он ничуть. Ну, мы сейчас бежать.
— Нашел себе место, батюшка. Жизнь-то наша!
— А что, его потрошить будут?
— Само собой: не по закону помер — потрошить.
— А я однова замерзал.
— Пьяный?
— Было маленько, только не то чтобы очениo. Спервоначалу все спать хотелось, и так мне тепло стало. И вижу во сне, словно бы я в трактире в каком, и народ

все чай пьет и песни поет. А уж меня в те поры снегом оттирали.

— Становой! Становой!

— Петрушка! Голубчик, не погуби! Все на себя прими.

— Ваше благородие! Петрушки это дело, мы ни в чем непричинны.

«Нива» № 14, 1880 г.

БЕЗОТВЕТНЫЙ

Сцена в деревне

— Калина Митрич, скажи ты мне, отчего я так много доволен!

— Может, выпимши...

— Стаканчик выпил, это верно! А ты мне скажи, отчего я так много доволен?

— Ну, от стаканчика и доволен.

— Стаканчик один — ничего! А я оченно рад! Видишь, птичка сидит, и я рад! Пущай сидит, голубушка!.. Оттого я много доволен, что хороший я оченно человек! Такой я хороший человек, — по всей деревне и людей таких нет! Чаю я не пью...

— А стаканчик-то...

— Впервой от роду! Силком влили! «Давайте, говорят, мы Мите стаканчик поднесем». Священник заступился: «Что вы, говорит, непьющему человеку...»

— То-то я смотрю, тихий ты человек, голосу твоего никогда не слыхать, а теперь разговаривать стал.

— Оттого я много доволен, что всех я люблю!.. Рыбу я ловить люблю. В лесу чтобы мне ночью — первое это мое удовольствие!.. Выду я в лес, когда почка развернется, да и стою. Тихо! Дух такой здоровый!.. Мать ты родная моя, как я лес люблю. Ежели теперича в лесу ночью гроза...

— Не боишься?

— Люблю! Как почнет это она сосны выворачивать... Страсть! А опосля того подымется всякая разная птица, на разные голоса.

— Охотник ты большой!

— Большой я охотник! По нашему лесу вплоть до вантеевской мельницы я все гнезда знаю. А как меня рыба уважает! Ух, как она меня уважает! Но только за всю эту охоту великое мне наказанье было! И как это, Калина Митрич, обидно! Хороший я человек, чаю я не пью!..

— Так за что же?

— Жил я на фабрике, и как слободное время — сейчас я в лес. Там народ — кто в трактир, кто куда, а я в лес. И сижу это я в лесу, и таково мне хорошо — лучше требовать нельзя. Вдруг, братец ты мой, откуда ни возьмись — двое.

«Какой ты есть человек? По какому случаю?»

«Птиц, говорю, наманиваю».

Поволокли меня к становому.

«Помилуйте, говорю, за что же? Ни в чем я непричинен...» Ах, Калина Митрич, как мне это обидно! Вышел становой и сейчас меня обыскивать.

«Сознавайся, говорит, тебе легче будет: ты фальшивую монету делал?»

«Никак нет, говорю».

«За что вы, ребята, его взяли?»

«Не можем, говорят, знать: сидит в овраге — и взяли».

«Зачем, говорит, ты в овраге сидел?»

«Птиц, говорю, люблю, ваше благородие».

«Вот тебе, говорит, двугривенный, ступай на все четыре стороны».

Веришь ты богу, Калина Митрич, как мне это обидно! Иду мимо церкви, хотел положить этот самый двугривенный в кружку, а уж дело под вечер было, сейчас меня опять судить.

«Ты, говорит, у храма божьего кружки ломать хочешь!»

«Пустите, говорю, голубчики... сейчас меня судили. Вот двугривенный становой дал. Человек я безответный! Смирный!» Отпустили. Ну и как же мне это обидно!..

«Еженедельное новое время» № 8, 1879 г.

ЛЕС

Сцены из народного быта

(Ночь. Луговина в лесу. Посередине разложен костер.)

ЯВЛЕНИЕ I

Антон и Семен сидят у костра; Прохор поодаль лежит на армяке.

Антон *(подкладывая хворост)*. Ночь-то какая... Тихо!..

Семен. Тихо!

Прохор *(зевая)*. Время чудесное... *(Молчание.)* Эко, братцы, это лес!.. Чего в ём нету: и трава всякая, и птица разная...

Антон. Божье произволенье!..

Семен. И клад, ежели когда попадается, — все в лесу... Что за причина, братцы: тетка Арина девять зорь ходила за кладом. Станет копать — все уходит, пойдет домой — опять покажется. Так и не дался.

Прохор. Брать, значит, не умела. Без разума тоже не возьмешь.

Семен. Я бы сейчас ухватил!

Прохор. Ухватил один такой-то!.. Я тоже однова́ ходил, ходил...

Антон. Може, его и не клали...

Прохор. Клад был... это верно.

Семен. Что ж, братец мой, во сне тебе это привиделось али как? Тетка Арина сказывала, вишь, ей старец во сне объявился: «Хочу, говорит, я, раба божья, счастье твое тебе сделать; ступай ты, говорит, на зоре к Федьки-

ну дубу, только ты иди, а назад чтобы не оглядывайся. Придешь ты, говорит, к Федькину дубу, оборотись лицом к зеленому лугу, отойди девять шагов и копай тут...»

Прохор. Нет, мне беглый солдат означил... по его речам я искал.

Антон. Поймал ты, значит, его, солдата-то?

Прохор. Поймал.

Семен. Какой смелый!..

Прохор. Чего робеть-то?

Семен. Как чего, братец мой! Убьет.

Прохор. Ничего. На войне ежели — вестимо убьет; а в лесу он ничего, потому отощает. В лесу что он ест? Есть ему нечего... Ягода... Ягодой али корешком каким ни на есть сыт не будешь. Ну, и отощал человек, — силу, значит, забрать не может. Опять же и ружья этого при ём нету.

Антон. А ты в лесу его захватил?

Прохор. В лесу; опричь лесу ему жить негде. Шел я тогда на покос, только что солнышко встало: смотрю, голова, а он сидит это, муницию свою заправляет. Подошел я к ему. Увидел это он меня — ровно бы вот лист затрясся. «Какой ты такой есть человек?» — говорю. «Ступай, говорит, дядюшка, своей дорогой, коли худа себе не хочешь». — «Зачем, говорю, идти мне некуда: я здешний». — «Ничего ты, говорит, сделать мне не можешь, потому, говорит, я служу богу и великому государю». — «Мне, говорю, твоя душа не нужна, а что собственно к начальству — я тебя предоставлю». Испужался.

Семен. Испужался?

Антон. Испужаешься! За это ихнего брата не хвалят.

Прохор. Где хвалить!.. «Делать, говорю, нечего, друг мой сердечный, пойдем». — «Есть, говорит, на тебе крест?» — «Есть», говорю. «Крещеный ты, говорит, человек, а своего брата не жалеешь: мне ведь, говорит, наказанье великое будет». — «Я этому, говорю, голубчик, непричинен».

Семен. Как же, сейчас ему лопатки назад и закрутил?

Прохор. Без этого нельзя... порядок. Завязал это я ему назад руки, повел к становому. «Пусти, говорит, меня, дядюшка, клад я тебе за это покажу, в купцы тебя

произведу». — «Сказывай, говорю, где? Коли верно скажешь, помилую». Стал это мне сказывать приметы, где и что, а ребята ваньковские нам навстречу. «На войну, что ли, говорят, господа честные идете?» Обступили нас, стали допрашивать, да так вплоть до станового и шли. Опосля уж я искал, искал этого места: ровно и похоже найдешь, — станешь копать: нет. Так и бросил.

Семен. А кабы нашел — ладно бы было.

Прохор *(повернувшись на другой бок)*. Пущай кто другой ищет.

Продолжительное молчание.

Антон. Соловьи-то петь перестали. Очень уж я люблю, коли ежели соловей поет.

Прохор *(зевая)*. Синица лучше.

Антон. Где ж синице!.. Синице супротив соловья не сделать.

Прохор. Сделает.

Антон. Невозможно!.. Да ты соловьев-то слыхал ли?

Прохор. Где слыхать! У нас их на мельнице тьма-тьмущая, и домики для их понаделаны.

Антон. Это скворцы!..

Прохор. То, бишь, скворцы... Все одно, и скворцы поют.

Антон. Соловей, ежели теперича, когда петь ему, он сейчас... фиу, фию. *(Подражает пению соловья; в лесу раздается свист.)*

Семен *(прислушиваясь)*. Что свистишь-то?

Антон. А что?

Семен. Погоди... молчи...

Все прислушиваются; опять раздается свист.

Прохор. Разгуляться вышел...

Антон. Кто?

Прохор *(таинственно)*. Кто? — Известно, к т о.

Семен. Теперича, ежели табун где близко, весь табун угонит.

Прохор. Ничего, стороной пройдет.

Антон. Да что вы, черти, это сыч.

Семен. Похоже!

Антон. А то нет? Эх, вы!..

Прохор. Коли свистит — ничего; а иной раз ровно малое дитя плачет... как есть ребенок.

Семен. У нас летось под самый Успленьев день табун угнал.

Антон. Ну, ври под пятницу-то!

Семен. Вплоть до реки гнал.

Прохор. Как до реки догнал, так и шабаш, дальше не погонит, жалеет тоже скотину-то.

ЯВЛЕНИЕ II

Павел, лесник, выходит справа.

Павел. Что ж огонь-то не гасите... не спите?

Семен. Так, сами промежду себя разговариваем.

Павел. Спать, чай, пора.

Прохор (*тихо*). Сам сейчас откликался.

Павел. В обход ходил — не слыхал. Что ж, мы к этому привычны... это нам ничего.

Семен. А мне, братец ты мой, жутко стало.

Павел. По первоначалу, как я в лес пошел, и мне жутко было. Привык. Идешь, бывало, по лесу-то, все нутро в тебе переворачивает, а теперь ничего. Лихого человека бойся, а лешой ничего тебе не сделает. Домовой хуже — тот наваливается; а лешой, коли он уж оченно когда разбалуется, так он только тебя обойдет. Опять же на него молитва такая есть... особенная. Коли кто эту молитву знает, тому ничего.

Семен. А ты, дядя Павел, знаешь?

Павел. Нам нельзя без этого. Я, окромя молитвы, заговор на его знаю. Куда хошь иди — не тронет.

Прохор. Обучи нас.

Павел. Не перейметe. Зря тоже этого не сделаешь.

Семен. Ему заговор ничего: заговору он не боится.

Антон. А мне, братцы, дворянин один в Калуге сказывал про лесовиков-то: «Ты, говорит, ничему этому не верь, никаких лесовиков нет, это так зря болтают».

Павел. Много знает твой дворянин-то!

Антон. «Ни лесовиков этих самых, ни ведьмов — ничего, говорит, этого нет».

Павел. Посадил бы я его ночи на две в сторожку, так он бы узнал, как их нет-то. Вот темные ночи пойдут осенью, пущай придет посидит. Нету! Да вот как раз трафилось, слушай. Знаешь лапинский овраг — мы там рощу караулили. (*Садится у костра.*) Дело близ покрова было. Об эту пору ночи бывают темные... Дожди по-

шли... холодно... смерть!.. Идешь по лесу-то да думаешь, зачем мать на свет родила.

Семен. Беда, сейчас умереть...

Павел. Спим это мы... Часу так в двенадцатом слышу, братец мой, словно кто около сторожки ходит. Походил, походил — перестал. Орелка была у нас собака... просто, бывало, отца родного не подпустит... волка раз затеребила... Орелка раза два тявкнул, замолчал. Думаю: должно, ветер. Только опять-то лег, как Орелка завизжит, как завоет, вот надо быть кто ей зад отшиб. Так индо меня мороз по коже! Мартын проснулся. «Выдь, говорит, Павел, посмотри».

Отворил я дверь-то: Орелка прижался к косяку, сидит... Слышу, братец ты мой, около самой сторожки лошадь заржала... Так у меня волосья на голове поднялись. Хочу назад-то идти, уж и двери не найду. Ходил, ходил, индо лихоманка забила, а лошадь нет-нет да опять заржет.

Семен. Страсть!.. Я бы убег!

Павел. Да куда бежать-то? Окромя сторожки, некуда. Ввалился в сторожку: «Дядя Мартын, говорю, у сторожки лошадь ржет, должно, за лесом приехали». Заругался мой Мартын — мужик он был хворый, сердитый: «Убью, говорит, до смерти, кто попадется». Вышли мы из избы-то, а по лесу топорище так и звенит. «Слышь, говорю, дядя Мартын?» — «Слышу, говорит... убью сейчас...» Побежали мы. Стал я Орелку уськать — не лает, идет сзади. Что, думаю, за причина? Дал раза в бок, — только заскучала.

Семен. Слышь, ребята?

Павел. Не трошь, пущай спят.

Семен. Ну!

Павел *(вполголоса)*. С полверсты мы прошли: топор близко, а на след не попадем, потому темно оченно. Шли, шли... рядом шли... «Дядя Мартын», говорю... Дядя Мартын голосу своего не подает. Что за оказия! Крикнул это я: «Дядя Мартын!» Слышу, Мартын далече вправо... Я вправо забрал, опять крикнул: «Дядя Мартын!..» Дядя Мартын далече влево... а топорище: тяп, тяп... Завернул я к ему на голос-то, стал Орелку кликать, и Орелка пропал!.. Ну, думаю: пущай всю рощу вырубят — пойду домой, потому страшно уж оченно стало, опять же и озяб... так продрог... смерть! Повернул назад,

пошел. Иду, да и думаю: сам не балует ли?.. Только, братец, это я подумал, как по всему-то лесу: «Ого-го-го-го!!!» Отродясь такого я крику не слыхивал. Так у меня руки-ноги подкосились! Хочу крест на себя положить — рученьки мои не владают...

Семен *(жмется)*. Меня индо и теперь дрожь прохватила!

Павел. Очувствовался — не знаю, куда идти. «Батюшка, говорю, Никола-угодник, выручи...» Сотворил молитву, легче стало. К свету уж домой-то пришел: за пять верст он меня от сторожки-то угнал, да в самое бучило, в овраг-то и завел. Кабы, кажись, маленько еще — утоп бы.

Семен. Ах ты, господи!

Павел. Ну, думаю: как приду домой, этого самого дядю Мартына на части разорву. Стал ему выговаривать-то, а он говорит: «Ты, надо полагать, в уме рехнумши. Я, говорит, всю ночь из избы-то не выходил».

Семен. Он все, значит.

Павел. Кому ж, окромя его. Шесть недель опосля этого я выхворал: все волосья повылезли, разов пять отчитывали, насилу на ноги поставили. Сама энаральша Пальчикова лечила, корочки с наговором давала, ничего не действовало. Так вот, как их нет-то! Может, дворянина-то он не трогает, а нашему брату от его шибко достается. *(Встает и потягивается.)* Спать теперича.

Семен. Кому спать, а нам — господи, благослови!.. По травушку, по муравушку. *(Надевает армяк.)* Очепно уж я люблю, когда разговаривают про чертей, али про разбойников... просто, сейчас умереть, спать не хотца.

Павел. Как же не спамши-то?

Семен. Я выспался. Я с вечерен спал. *(Подходит к Антону и толкает его ногой.)* Вставайте, ребята!

Антон. Только было...

Семен. Скотину, поди, уж выгнали.

Прохор. Господи, благослови!

Павел Жисть вам, ребята!

Семен. Какая жисть!

Павел. Покос подошел... коси да коси...

Антон *(набивая трубку)*. Акштафу на дорогу закурить, дело ходчей пойдет.

Все. Прощай, дядя Павел.

Павел. С богом... дай бог час.

«Современник» № 5, 1861 г.

ДЬЯВОЛЬСКОЕ НАВАЖДЕНИЕ

Одно лето я жил на Волге, в деревне у покойного Н. А. Некрасова, верстах в двенадцати от Ярославля. Большую часть времени мы проводили на охоте. Места в той стороне живописные и для охоты необыкновенные. Покойный Николай Алексеевич был страстный охотник и отличный стрелок. На охоте он не знал устали. Случалось так, что мы выходили на восходе солнца и возвращались домой около полуночи. Обыкновенно хмурый и задумчивый, на охоте он был неузнаваем: живой, веселый, разговорчивый, с мужиками ласковый и добродушный. Мужики его очень любили. Про собаку его Оскара (я никогда не видывал такого умного пса) ходили слухи, что она прислана каким-то королем «значительному в Петербурге генералу», что тот подарил ее Некрасову и назначил ей по смерть семьсот рублей пенсиону.

Охотились мы по обеим сторонам Волги и оставляли дом иногда дней на десять, переночевывая в разных селах и деревнях. Кроме весьма удобного, приспособленного к охоте тарантаса, с нами шла верховая арабская лошадь.

Приезд наш в какую-либо деревню для ночлега для мужиков был праздник.

В избе толпа. Кто разбирает вещи, кто любуется ружьями, а кто, по бывшим примерам, ожидает угощения.

— Давно уж, сударь, в наших местах не бывали, — заговорил кто-то из толпы. — Дичи у нас теперь такая сила, что, кажется...

Выступил вперед Можжуха, мужик-охотник, постоянно сопровождавший Некрасова на охоте. Лицо его было завязано тряпицей.

— Что это у тебя лик-то перекосило?

— Все это моя охота, сударь, Миколай Алексеич! Все она! Пополз я третьеводни в осоку... в заводинке утки сидели. Выполз, почитай, на самую наружу — сидят. Думаю: подожду маленько — пущай скучатся. Ждал, ждал, да, признаться, надоело... Приложился — бух! Индо перевернулся!

— Заряд велик положил?

— Не мерял, только много. Мне влетело, но уж и уткам я уважение сделал... Как горох посыпались... Подбирал, подбирал...

— А куда мы завтра пойдем?

— Спервоначалу, Миколай Алексеич, на озеро. Там теперича этого бекасу!.. А опосля тетеревьев...

— Куда?

— Туда, сударь, к Чудинову, где в запрошлом году ваншлепов били. Там охота расчудесная!.. Становой только там маленько балует, да он ведь стрелять не умеет, на нашу долю много еще осталось.

— Становой теперича не ходит, — заметил один мужик.

— Видел его, — возразил Можжуха.

— Мы верно знаем, что не ходит: он своей собаке зад отшиб.

— За что?

— Не можем знать. Из первого ствола по птице ударил, а из левого по ей. Собака ихняя не действует, это верно.

— Ну, что ж, братцы, четверти-то, пожалуй, вам мало будет?

— Много довольны, сударь! — отозвался один мужик. — Бабы не пьют, а нам хватит.

— А полведерочка ежели пожалуете, ваше благородие, — заискивающим тоном вмешался другой, — так и оченно даже... за ваше здоровьице... Может, и бабы которые пригубят. Есть тоже баловницы-то...

— Ну, ступай, пейте.

Рано утром мы были на озере. Действительно, всякой дичи оказалось многое множество. Закат солнца застал

нас в Чудиновском лесу. Тьма, тишина, благоухание сосового леса и только что скошенной травы!

— Тут мы и жить будем! — воскликнул Некрасов. — Разводи огонь.

Затрещал костер. Один мужик разыскал тарантас и поставил его на просеке. Сладили из ветвей большой шалаш. Из тарантаса принесли самовар и ужин.

Как обыкновенно бывает, темнота располагает человека к разговору о страшных происшествиях, о таинственном; так и теперь это случилось.

— Поди ж ты вот, — заговорил Можжуха, — в конпании ежели в лесу — ничего; один ежели — жутко.

— Чертей, что ли, боишься?

— Что их бояться-то, мы их видали. У нас в селе свой есть.

— Как свой?

— А старшина наш Иван Петров — черт как есть. Рога ежели ему приставить —так точно и будет.

— Строгий человек?

— Черт — одно слово.

— Теснит?

— Не дай бог!

— А что, сударь, осмелюсь я вам доложить, — начал один очень скромный мужичок, — я однова видел его явственно.

— Страшный?

— Спервоначалу-то я не понял, опосля уж это мне...

— Видел ты! — возразил Можжуха. — Видеть его невозможно. Вот в Алешине колдун, кажется, уж...

— Да он не взаправду колдун.

— Он-то? Настоящий! Он у нас в селе семь душ испортил. Петровна-то у него в ногах валялась, чтоб снял. «Потерпи, говорит. Меня, говорит, он самого давно не посещал; как посетит, в те поры сниму». Ребята спрашивали: как он есть такой? «Я, говорит, сам его никогда не вижу, а мне, говорит, приказано».

— Ну, а ты как же его видел?

— Батюшка упокойник бил меня оченно, чтобы я в Москву шел, а я в те поры только год женимши был, детенок у меня народился — оченно мне не желалось, а он бьет. «Тятенька, говорю, помилосердуй. За что ты меня бьешь?» Схватил за волосья, трепал, трепал... Жена взвыла. «Тятенька, — кричит, — руки на себя наложу,

коли ты мужа бить будешь». Терпел я, терпел — невмоготу стало, думаю: утоплюсь. И сейчас мне легче стало. Жена все одно хоть бы ее не было; на детенка посмотрел — словно бы он не мой. Только одно в уме содержу: утоплюсь. И такая мне радость, только и жду—поскорей бы ночь пришла, что уж не жить мне. Поужинали. Батюшка запер калитку, опять в избу пошел, а я в сарае лег. Встал ночью, вышел на двор, смотрю — калитка маленько отворена. Что за оказия! Сам видел, как батюшка запирал. Пришел на реку, снял сапоги, перекрестился, а мимо меня словно пролетело что... черное.

— Что значит крест-то! — многодумно заметил один мужик.

— Дрожь меня прохватила, оченно детенка стало жалко.

— Он тебе, значит, и калитку-то отворил...

— Как домой оборотил, не помню. Через три года батюшку господь прибрал. Теперь ты меня обложи золотом — на реку ночью один не пойду.

— Ну, а вот которые некрещеные?..

— Заговор, может, какой есть...

Долго на эту тему продолжалась беседа.

«Новое время», 25 декабря 1879 г.

МЕДВЕДЬ

Рассказ

(Посвящается А. К. Кузнецову)

Паче же почитайте сию книгу, красныя и славныя охоты, прилежные и премудрые охотники, да многия вещи добрыя узрите и разумеете.

Царь Алексей Михайлович.

I

В роскошно убранном кабинете очень богатого молодого человека на изящном кресле сидел мужик; у двери, заложивши назад руки, стоял франтоватый лакей.

— Долго Александр Иванович проклажается, — заговорил мужик после продолжительного молчания, — пожалуй, и на чугунку не попадешь.

— Эх вы, егоря! — язвительно прошептал лакей, — нечего вам делать-то!

— Ты, Николай Петров, понимать нашего дела не можешь, потому твое дело больше у тарелки.

— Что говорить! Дело ваше хитрое!

— Наше-то?! Хитрое дело! Хитрее твоего. Ты поди-ка, попутайся по лесу-то, живот-то тебе и подведет.

— Для какого это расчету я пойду?..

Послышался звонок. Мужик встал. В дверях показался барин.

— Здравствуй, Кузьма, — заговорил он, ласково протягивая руку.

— Здравствуйте, Александр Иваныч.

— Что скажешь? Николай, ты бы водки ему дал.

— Подносили, благодарим покорно, выкушал... Ведьмедя, сударь, обложили.

— Чудесно! Большого?

— Порядочный. Не мы его обкладали: он лег в пищалинском косяке, а ужо опосля к нам перешел.

— А место хорошее?

— Первый сорт место; на самой на просеке станем.

— А если на берлогу?

— Неспособно: оченно ломы, опасно. Одному ежели — ничего, а с господами не справишься.

— Спасибо, что вспомнил меня.

— Оченно даже мы вами благодарны, Александр Иваныч, и завсегда...

— Так ладно, по рукам!

— Приезжайте, сударь. Я ноне поеду; завтрашнего числа с кумом мы обойдем, проверим и сейчас вашей милости лепешу...

— А пищалинские не прогонят его?

— Ничего, мы с ними сделаемся. Шум-то промежду нами, пожалуй что, будет, а ничего.

— Даром бы не приехать?

— Как возможно. Ведьмедь верный. Действительно, он спервоначалу у их лежал, но только важность небольшая...

— Если мы послезавтра приедем, успеешь ты?

— Беспременно. Сейчас как приеду, народ соберу и сейчас и в лес.

— Так уж ты депеши не посылай: мы приедем. Только насчет пищалинских у вас, должно быть, неладно.

— Без сумления! Охоту нашу портить им не дадим. Мы, сударь, все эти резоны знаем... Как возможно!..

— Ну, с богом! — окончил барин, касаясь нежными пальцами корявой руки мужика.

На другой день утром Кузьма уже был в деревне. Оповестив всех о предстоящей утром охоте, они с кумом Акимом отправились в лес проверять медведя. Пищалинские мужики не зевали. Около вечерен они с шумом вошли в деревню и засели в кабаке.

II

— Но уж и стужа же на дворе, то-то страсть! — говорил Герасим, входя в избу. — Вьюга такая — свету божьего не видать!.. Ежели теперича наши ребята под выселками в овраг влопаются — там им и помирать, не вылезут.

— Тьфу! Типун те на язык-от! — перебила его старуха.

— Что?! Истинная правда, — подтвердил парень, — в экую стужу какая охота — одни слезы.

— Вся и жизнь-то наша слезы, — отозвался с печи старик, — родимся мы во слезах и помрем во слезах... И сколько я этих слез на своем веку видел, — и сказать нельзя! Бывало, хошь в некрутчину: и мать-то воет, и отец-то воет, а у жены-то у некрутиковой из глаз словно горячая смола капает...

Старик тяжело вздохнул.

— Это ты, дедушка, насчет чего? — спросил его Герасим.

— Сам про себя говорю, — отвечал старик.

— А я думал — насчет нашего положения... А насчет нашего положения я те вот что скажу: греха тут не оберешься! Ведьмедь наш, мы его обложили, а пищалинские мужики говорят, что с ихней межи перегнали. Я так понимаю — без драки тут нельзя... И так нам эти пищалинские накладут в загривок, так они нас обработают...

— Вольный зверь не по пачпорту ходит — где захотел, там и лег, — вмешалась старуха, — запрету ему нигде нет.

— Да, ты вон поди с ними поговори, — продолжал Герасим, — уж они теперь, оглашенные, два ведра, почитай, выхлестали, ничего с ними не сделаешь. Пущай, говорят, суд нам разрешение сделает, коли возможно, с нашей земли ведьмедев сгонять. Нам, говорят, все единственно!.. Мы, говорят, тут в кабаке и жить будем, пока господа не приедут...

— И все-то, братцы, как я погляжу, — перебил старик, — брань у вас, да все друг против дружки.

— Это действительно, дедушка! Главная причина — мужики сердитые, опять же это... налопаются, настоящего-то и не могут, как должно. Ежели теперь по-настоящему — как? Обложил ты его, народ сколотил, господ

поставил... бух! Честь имеем поздравить! И ведьмедю хорошо, и господам лестно, и сам ты, примерно... и народ тобой доволен.

В избу ввалился пьяный, оборванный пищалинский мужичонка Мирон, с ружьем в руках. Он был весь в снегу.

— Это за нашу-то добродетель, — начал он, ткнувшись раза два о печку, — спасибо! Ведьмедь наш, пищалинский! У нас он лежал; Кузьма Микитин с нашей земли его перегнал...

— Крепостной он твой, что ли? — проворчала старуха.

— Ведьмедь он божий... это мы все оченно хорошо...

— Спать бы, дядя, тебе, — сказал Герасим.

— Спать мы пойдем, потому мы маленько... потому мы пьяные... Спать нам требуется беспременно, а этого дела мы так не оставим...

— Ружье-то, с пьяных глаз, не потеряй, — заворчала опять старуха, — а то еще застрелишь кого...

— Могу! Ствол у нас французский, долбанет — своих не узнаешь. Волку намедни такую ваканцию показал... Эх, Петровна, понимать моей души ты не можешь!

— А нализался ты здорово, дядя, — отозвался с печи дедушка.

— В самый раз!.. А насчет ведьмедя мы все завтра обозначим.

— А может, бог даст, проспишь, дело-то и обойдется, — проговорил Герасим.

— Никак этого нельзя! Всю ночь наскрозь ходить буду, потому ведьмедя нам бог даровал! — горланил Мирон. — Он все лето, батюшка, на наших овсах питался...

— Эх, Мирон Масеич, голова-то у тебя не с того конца затесана! Ступай-ка ты, откуда пришел, — окончил Герасим, выводя под руки Мирона из избы.

— Ведьмедь наш! Наш он, батюшка, пищалинский! — продолжал он орать за дверью.

От крику зашевелились проснувшиеся на полатях ребятишки.

— Что, дедушка, господа еще не бывали? — заговорила, почесываясь, желтая, как лен, хохлатая головенка.

— Нету, батюшка, спи спокойно, — отвечал дедушка.

— Я в загон пойду.

— Как те нейдти! — подхватила бабушка.

— Вестимо, пойду.

— С чем ты пойдешь-то, дурашка? Махонькой ты человек...

— Хворостинку возьму, да и пойду.

— Сиди-ко лучше на печи да тараканов загоняй — не страшно!

— Ну, ладно!

— Нет, Матрена Петровна, — ввязался в спор Герасим, — ты нам не препятствуй. Васютка, пойдем.

— Пойду и есть!

— На мерлогу ежели, — продолжал Герасим, — страшно, а в загон ничего. Девки ходят, стало быть, нам можно. Но только я так понимаю: хоша господа и приедут, а на охоту им идти неспособно: в экую стужу да жидкому человеку... беда!

III

Намаялись бедные разведчики, день-деньской ерзая на лыжах по лесу. Медведь лежал крепко. Уж темнело, когда они вышли из лесу. Посвистывал ветер, подымалась метель, до деревни, по мужицкому счету, три версты, а мужицкая верста длинная, длиннее казенной. Приуныл Аким, запечалился и Кузьма. Холод сам по себе мужику ничего — дело привычное, а вот как вьюга в поле разыграется — горе великое!

— Не застрять бы как... — заговорил тревожно Кузьма.

— Возможно, — соглашался Аким, — хитрого нет! Полем там даже оченно...

— С богом, ничего не сделаешь!..

— Его святая воля, что сделаешь... — решили они, миновав лесную просеку.

Вьюга в полном ходу. В поле зги божьей не видать. Залепило глаза, заледенило бороды.

— Господа, пожалуй что, не приедут, — промолвил тоскливо Аким.

— Уж до господ ли теперь! Помог бы бог вылезти. В экую пургу какая охота, пропади она совсем!..

— Сосну бы нам не прозевать. На сосну попадем — дома.

— Вишь, вьюга какая, — у лошадей хвоста не видать, а ты сосну.

Лошадь, побуждаемая и кнутом, и лаской, и бранью, едва передвигала ноги; наконец, выбившись из сил, остановилась.

— Должно, сбились!

— Уж давно по целому едем. Сбились как есть.

— Беда!..

— Поди ж ты!..

Аким сунулся в сугроб и, пройдя шагов двести, воротился назад.

— Что бог дал?

— Ничуть!

— Постой-ка, я потопчу; может, господь даст...— сказал Кузьма, опускаясь по пояс в снег.

И Кузьма пришел ни с чем.

— Столько этого снегу наворотило — не выдерешься.

— В овраг бы не влететь.

— Там и душу свою оставишь... в овраге... Так ты это и понимай!

Долго молча и сосредоточенно стояли они, придумывая, на что им решиться.

Аким хотел было посоветовать ехать прямо, да, вспомнив, что лошадь потому и остановилась, что прямо ехать нельзя, удержался. Кузьма был решительнее: он что есть мочи стал хлестать кнутом несчастное животное. Лошадь тронулась.

— Ну, ну, ну! — кричал Кузьма, учащая удары.

— Трогай, трогай! — подбадривал Аким, ухватившись за оглоблю.

— Господи, да вон она, сосна-то! — закричал с радостью Кузьма.

— Она и есть!

— Батюшки мои!.. Вот какое дело. Помирать уж сбирались.

— Это мы, значит, все около ей барахтались! Ну, оказия! Что ж это огнев-то не видать? Озерецкое, должно, вот оно... направо?

— Да теперь все село разожги, никакого огня не увидишь...

От сосны уже недалеко до деревни, и по торной дороге, как ее ни занесло, все-таки добраться можно.

— Дома теперь... Слава те, господи!..

— Уж теперь что... теперь ежели... А то, как возможно...

— Само с собой, коли... Эх!..
— Горе!
— Вот ты и думай!
Бессвязные эти фразы произносили мужики с большими паузами.
Овин... другой... избенка... В деревне!..
Все забыто: и страх быть занесенным, и стужа, прохватившая до костей. Миновала беда — и слава богу!
— Кабак, поди, еще не заперт.
— Надо полагать...
— Одной косушкой, пожалуй, не поправишься?
— Какая косушка! Много ли в ей, в косушке! Теперича, ежели очувствоваться как должно, и полштофа мало, — решил Аким.
Из кабака слышался шум: безобразничали пищалинские мужики, ожидавшие приезда господ из Санкт-Петербурга. Больше всех заинтересован был Мирон. То он хвастался своим ружьем, то репетировал речь, которой он встретит охотников.
— Сейчас приедут и сейчас... воля милости вашей!.. Ведьмедя нам бог даровал! Собственно, они с нашей земли его перегнали... Как вашей милости угодно!..
— Это точно, — поддакивал спившийся пищалинский *ех*-старшина, — а коли что — два ведра на все наше общество. Тогда и действоваться можно.
— Два ведра!.. Верую, господи! Так ли я говорю? Два ведра пожалуйте на стол, а мы выкушаем...
— А вы, ребята, не кричите, — вмешался в разговор рыжий мужик, — а то в запрошлом году Демьян Иваныч налетел тоже на барина, стал права доказывать, да после недели две скулы растирал...
— А в суд?
— Судись там! Так огреет...
— Меня?! — закричал с бахвальством Мирон.
— Ты-то первый наскочишь!
— Я?!
— Ты!..
— Не надеюсь! Вот что!
— Не надеюсь!
— Пожалуйте нам осьмушечку, — окончил он, подходя к стойке.
Было около девяти часов вечера. Утомленные, про-

дрогшие до костей, разведчики миновали кабак и задами въехали в деревню.

— Живы ли вы тут? — заговорил Кузьма, входя в избу.

— Ай, батюшки! Уж мы не чаяли вас, — заторопилась старуха.

— То есть так-то прохватило, так-то прохватило, что, кажись...

— Порядочно! — перебил Аким. — Маленько бы еще — там бы, пожалуй, и заночевали на поле...

— Хотели было согрешить по стаканчику, да пищалинские в кабаке галдят.

— Следовает, а то никак не раздышешься.

— Я сейчас к честной вдове схожу: у ней водка без пакенту, — вызвался Герасим.

— Не даст!

— Мне-то?! Даже оченно... С великим удовольствием!

Вот и водка на столе. Выпили медвежатники, раздышались, очувствовались и стали отходить ко сну. Аким сымпровизировал подушку: обернул полено полушубком и растянулся на голом полу.

— Ты бы, бабушка, сапоги-то в печь сунула... да смотри, не изжарь, завтра потребуются, — проговорил Кузьма, влезая на полати.

Вьюга успокоилась. Сквозь рваные облака по временам показывался месяц. Кабак смолк. Общее спокойствие нарушалось изредка бродившим по деревне Мироном: он разыскивал свою шапку.

— Без шапки мне невозможно! Без шапки я не человек, — кричал он во всю глотку.

IV

Рано утром, на заре, по деревне послышались бубенцы. К избе Кузьмы подъехало несколько саней, нагруженных людьми, ружьями, рогатинами, чемоданчиками, корзинами и т. п. Кузьма уже был на ногах. У ворот встретил приехавших Мирон; он всю ночь пропутался на улице.

— Все благополучно, ваше сиятельство, ведьмедь как есть... вас дожидает, — отрапортовал он, трясясь всем телом, выходившему из саней полковнику.

— Что это? Ни свет ни заря, а уж ты откушал, — заметил полковник.

— Точно так, ваше сиятельство! Не я пью — горе мое пьет, — отвечал Мирон.

— Полно-ко ты, непутный человек, мутить-то, — отозвался Кузьма, отряхивая снег с полушубка полковника. — Всю ночь спать не давал, старый черт!..

— А что, медведь лежит? — подскочил к Кузьме молодой человек в изящном черном полушубке, с красивым ружейным ящиком под мышкой.

— Лежит, сударь.

— Большой?

— Да ведь бог его знает: мерить его нельзя.

— Большущий, ваше сиятельство! Лапа с ведро, а то и больше. Потому как он есть ведьмедь наш, пищалинский, у нас он все лето кормился, — вмешался опять Мирон, поддерживая под руку уходившего в избу полковника.

Сани разгружались. Вылезали, отряхиваясь, охотники, мужики вытаскивали ружья, рогатины и т. п. К избе мало-помалу подходили любопытные. Пищалинские все собрались в кучу и стояли у избы молча. Некоторые разговаривали шепотом.

— Я так понимаю, — говорил один, — битва у нас будет великая.

— Без рвани тут ничего не сделаешь, дело видимое, — соглашался другой.

Полковник, войдя в избу, приветствовал хозяев, приглаживаясь к их обиходной речи.

— Здравствуйте, добрые люди, — начал он, низко кланяясь старухе.

— Здравствуйте, батюшка, господин честной, ваше благородие.

— А тараканов-то у вас порядочно!

— Сила, сударь! Такая сила этих тараканов — ничего с ними не сделаешь, — отвечал Кузьма.

— Морить надо...

— И морили, сударь, и морозили, из Санкт-Петербурга был какой-то, мазью смазывал, но, между прочим, куры все передохли, а тараканы остались.

— Здравствуй, божий человек, — обратился он к слепому старику.

— Здравствуйте, батюшка, — отвечал старик, поднявши к небу незрячие, черные как уголь глаза.

— Давно на божьем свете маешься?

— Годов восемьдесят есть, барин.

— Много!

— Что сделать, сударь, — и не хочется, да живешь.

— Уж и мы, сударь, говорим, — вмешался шутливо Кузьма, — пора бы, место ему там уж заготовлено. Ты бы, тятенька, пошел, ослобонил тут господам. Васютка, сведи дедушку.

— Погоди, дай нам со стариком побеседовать, — остановил полковник. — Крепостной был?

— И под господами жил, и волю сподобил сподь увидеть.

— А чьих был?

— Господ-то? У меня был господин большой; таких нынче и господ-то нет, да и в те поры, пожалуй что, не было.

— Аракчеевские наши-то были, — подсказал Кузьма.

— Графа Алексея Андреевича Аракчеева дворовый я человек был — спервоначалу фалетором и опосля того кучером, — подтвердил старик с достоинством.

— Хорош он для вас был? — продолжал допрашивать полковник.

— Строгой был человек, горя нашего не чувствовал.

— Потерпели наши-то при нем на порядках...

— Лютой был человек, попил нашей крестьянской крови вволю.

— А жить нам за ним было хорошо, — продолжал старик, — страх был, баловства не было, пьянства этого, кабаков... Мужик был сытый.

— Это, что говорить, — ввернул от себя Аким, — мужик был в те поры форменный... как есть... Теперича народ горький, все пропимшись... Теперича только пьют да на погорелое место собирают.

— А пожары часто бывают?

— Бывают и пожары, а больше так.

— Как так?

— Пропьются, оглоблю обожгут, — значит погорели.

— Царство ему небесное, — окончил старик, ощупывая висевший на стене полушубок, и вышел с Васей из избы.

Пока Аким бегает по деревне, сколачивая народ в загон, пока господа осматривают ружья, надевают сапоги, услаждаются чаем и напитками, врут всякую охотничью небывальщину, я отвлекусь от рассказа и познакомлю с ними читателя. Вы не думайте, что это приехали охотники по ремеслу, по страсти. Из них нет ни одного, который бы в холодную осень окунулся в воду, доставая убитую птицу; который бы в палящий зной без воды, без пищи оставался целый день в болоте для того, чтобы положить в сумку две пары бекасов; который бы изнурял себя, бродючи в лесу по ломам, по корягам, отыскивая тетеревиный выводок; который бы в грозу, в ливень, промокший до костей, пробирался спокойно по изрытому сохой грунту, чтобы принять ночлег в лесу, в наскоро сделанном из листьев шалаше. То поэты, а мои охотники просто милые, прелестные люди, едва умеющие держать ружье в руках. Приехали они просто подышать свежим воздухом, а в случае подвернется под руку медведь, то лишить его жизни, если не будет предстоять к тому большой опасности и если пуля нечаянно его заденет. Таких охотников очень много. У иного не знаешь, что в кабинете: оружейный магазин или зоологический музеум? Шкаф с ружьями. Каких там систем нет: заряжающиеся и сзади, и сбоку, и сверху... Каких к ним нет приспособлений!.. А вот ножи, пистолеты, свистки, рога, рогатины и всякая охотничья утварь. Все чисто, как говорится, с иголочки. А на стенах, а на шкафах! Чучела глухарей, вальдшнепов, дупелей... а вот стоит рысь... а вот оскаливший зубы волк... а вот встал во весь рост и сложил лапы по-наполеоновски медведь, и ни в одной душе владелец этих чучел неповинен.

Снарядились мои охотники. Полковник одевался и подтягивался очень долго. В скобках замечу, что называемый мною полковник — не полковник, а совсем штатский господин. Мужики его прозвали полковником за солидную фигуру и за необыкновенную способность кричать и браниться без всякой злобы.

— Шибче полковника никому не изругаться! — замечают о нем мужики. — Так обложит, лучше требовать нельзя.

Молодой человек в изящном полушубке, подпоясан-

ный кавказским поясом с серебряным набором, видимо, беспокоился и начинал жаловаться на зубную боль, когда один из мужиков соврал ему, что он медведя видел, что он большой и, должно быть, медведица с медвежатами лежит на чистом месте и, пожалуй, «потрепать» может. Один из приехавших охотников был одет черкесом: на нем накинута бурка, а на голове огромная баранья шапка:

Он весь обвешан был ремнями,
Железом ржавым и кремнями,
На поясе широкий нож.

Он врал от самого Петербурга вплоть до места охоты и, наконец, до того заврался, что заставил усумниться даже мужиков. Он рассказал, как он убил медведя из пистолета.

— Мертвого? — живо спросил полковник.

Все засмеялись.

— Нет, не мертвого! — возразил черкес.

— Ну, так нечаянно, — промолвил молодой человек.

— Словно бы барин-то маленичко... — заметил лукаво Аким...

И посыпался на бедного черкеса град насмешек.

— Ты, может, в зверинце... — говорил полковник.

Черкес уже начинал обижаться, но вошедший Кузьма доложил, что подводы готовы и народ дожидается.

На улице толпа. Мужики, бабы, одна с грудным ребенком, девки, мальчишки, с дубинками, с хворостинками, с палками, с ружьями, в рваных полушубках, в кафтанишках, в сапогах, в лаптях, в валенках, стоят смирно. Один мужичок заряжает ружье, перевязанное около курка веревкой, выдергивая из шапки паклю для пыжа.

— А мое давно заряжено, — заговорил стоящий с ним рядом, — под самый под покров я его зарядил... господа в те поры приезжали. Ружьишко оно ничего, только ствол стал отскакивать.

Вышли охотники.

— Здорово, ребята, — воскликнул полковник.

Загонщики молча поклонились.

— Это что такое? — закричал он, увидавши бабу с ребенком.

— Бабеночка, сударь наша...
— Что ж, она с ребенком в лес пойдет?
— Муж, сударь, у ей замерз, так, значит, кормится... в чужих людях живет.
— Ничего, сударь, мы привычные, — робко проговорила бабенка.
Пищалинские всей кучей выступили вперед заявлять свою претензию.
— Что вам нужно? Вы загонщики? — обратился к ним полковник.
— Никак нет, ваше сиятельство, — выступил вперед красный, как кирпич, мужик, — мы пищалинские.
— Что значит?
— Вы как насчет ведьмедя этого понимаете? — заговорил он вкрадчиво.
— А что?
— Он лег, значит, в нашем косяке, а они теперича его перегнали... перегнали они его, а мы, значит...
— Обижены, — подхватил другой. — Надо говорить по-божьему — обижены!..
— За нашу добродетель, — закричал Мирон.
— Ты, кажись, рвань ты эдакая, еще не проспался, — заметил Кузьма.
— Кузьма Микитич! Жив бог, жива душа моя! Понял? Ну и больше ничего! — отрезал Мирон.
Заговорили все вдруг.
— Мы теперича, значит, пищалинские, все наше общество...
— Сделайте вашу такую милость...
— Собрамши теперича все наше общество... мы, ваше степенство, люди бедные...
— Опосля этого они и скотину нашу угонять будут.
— Ведьмедя нам бог даровал, мы с им живы не расстанемся...
— Ежели их теперича не сократить...
Крик увеличивался. Охотникам становилось неприятно, полковник не знал, кого слушать и кому отвечать. Разлилось море нескладного мужицкого шуму. Раздались оплеухи. Бабы завизжали. Загонщики ринулись.
— Стой! — кричал черкес.
— Стрелять буду! — кричал полковник.
Мирон, раненный в глаз, прислонился к воротам и орал во всю глотку:

— Помираю! Деревню спалю! Все выжгу!

Бой длился недолго. Неистовая брань полковника остановила нападающих. Кто поднимал сбитую с головы шапку, кто расчесывал бороду, кто потирал разбитые скулы. Из переговоров выяснилось, что они желают получить свою долю, то есть — ведро водки. Охотники согласились.

— Будь по-вашему, — сказал полковник.

— Ну, вот и делу конец! Трогай, ребята!..

— Коли ежели ведро — все мы согласны! Шабаш! Согласны! Ведро мы, господа мужички, выпьем за ихнее здоровье, а там ежели что — твори бог волю!.. Все под богом! Так ли я говорю? Все я пропил, а бога я люблю! Верую, господи!.. Вот я какой человек! Ведьмедь меня боится! У меня ходи круче!..

Кузьма делал распоряжения.

— Ты, Аким Иваныч, с бабами иди по ручью...

— Что ж я там с бабами буду делать?

— Постой! Опосля вам всем от меня разрешение будет. Пойдешь ты с бабами к ручью, да там меня и ждите. Ребят тоже возьми. Бабы, трогай! А ты, Микитич, веди народ к старой плотине... Дойдешь до старой плотины и сейчас стой!.. А вы, пищалинские, ступай все за бабами.

Загон тронулся. Осталось несколько мужиков в качестве телохранителей. Мирон пристроился к полковнику.

Охотники подъехали к густому лесу и стали на просеке. Видно было, как вереницей тянулись по пояс по рыхлому снегу бабы, прокладывая путь сзади идущим пищалинским мужикам.

— Что же это они, черти, баб-то вперед пустили, — заметил кто-то из охотников.

— Потому, сударь, баба завсегда помягче, потяжеле мужика, проминать ей дорогу способнее, — ответил шутливо Кузьма.

Вынули нумера и пошли все в непроницаемую чащу леса, задевая и отряхивая пушистый снег с густых ветвей сосен. Полковника вели двое под руки. Вышли на поляну.

— Первый нумер? — спросил шепотом Кузьма.

— Мой, — ответил молодой человек в изящном полушубке.

— Пожалуйте тут.

Пошли дальше.

— Второй нумер?

— Я, — отвечал мрачно черкес.

— Извольте тут становиться.

Третьим нумером стал полковник, четвертым какой-то господин в очках, никогда не бывший на охоте и не имеющий об ней никакого понятия; пятым — не знаю кто. Кузьма пожелал доброго часа и пошел в лес делать дальнейшие распоряжения.

Охотники стояли друг от друга на расстоянии сорока шагов. Телохранители сзади, то приседая, то выпрямляясь, следили за малейшим шорохом, за малейшим движением каждого прутика.

Тихо...

Молодой человек в изящном полушубке любовался своим новеньким штуцером, обтирая батистовым платком его стволы. Черкес пил водку из фляжки и делал соображения на случай неприятного столкновения с жильцом соснового леса. Полковник прислонился к дереву и осматривал местность. Господин в очках безучастно смотрел на все окружающее и раз только полюбопытствовал узнать от мужика — «на задних лапах выходит медведь или просто». — «Всячески, — отвечал мужик, — как ему лучше, бывает — и на лапы подымается».

Над головами охотников пронеслась стая птиц. Из-за леса послышался собачий лай. Выстрел!.. И мертвая тишина соснового бора сменилась нескладным, безобразным криком загонщиков. Все схватились за ружья; телохранители попятились назад.

Кричат...

С притаенным дыханием все смотрят вперед. Черкес сбросил с себя бурку.

— Ваше сиятельство, подайтесь маленько, способнее будет, — сказал мужик полковнику, взявши его за руку и передвигая с места.

Полковник молча повиновался.

Мужики, стоящие около молодого человека, держали рогатины наперевес. Сам он, бледный, беспокойно глядел вперед.

Господин в очках стоял до наивности храбро. Казалось, что ему схватиться со зверем — дело за обычай.

Мирон встал на пень и тупо глядел на линию охотников.

Кричат...

Черкес поминутно вскидывает ружье. Вот он присел и прицелился. Все встрепенулись. Полковник взял быстро на прицел. Оказалось: фальшивая тревога.

— Баловники! — сказал телохранитель.

Крик на левой стороне усилился. Уж ясно слышатся слова: «Аяяй! Береги, береги!..», «У-ту-ту!..», «Идет, идет...», «Батюшки, береги!», «Кричи, кричи...». Лай собачий превратился в отчаянный визг, и на поляне, в виду всех охотников, показался во всей своей красоте большой бурый медведь.

Таф! Таф! Таф! — раздались глухие выстрелы.

Медведь мгновенно повернул и скрылся в чупыге.

Таф! Таф! — отсалютовал ему вслед черкес.

Господин в очках выстрелил два раза в воздух.

Пятый нумер закричал: «Тиро!»

Полковник был убежден, что он медведя ранил: ему показалось, что медведь перевернулся. Черкес был убежден, что он медведя убил, потому что после его выстрела медведь привскочил. Но ни того, ни другого не совершилось: не перевертывался медведь и не привскакивал, а просто целым и невредимым вышел из-под выстрелов.

Полковник начинал сердиться; ему казалось, что левая сторона кричит слабо.

— Что у вас, чертей проклятых, левое крыло спит! Эки анафемы! Убью! — закричал он на весь лес.

— Сударь, что же это вы кричите? Вы ведьмедя сбиваете, — заметил ему телохранитель, — он должен опять выйти.

Медведь между тем метался по лесу из стороны в сторону, стараясь прорвать цепь загонщиков. Вотще! Загонщики стояли кучно и кричали немилосердно. Зверь решился на отчаянное средство: он бросился на загонщиков, повалил бабу и вырвался на полную волю с правом лечь в новую берлогу и дожидаться нового обретения, новой депеши, по которой будут вызваны более умелые охотники, которые влепят ему пулю под самую лопатку и украсят его чучелом кабинет или парадную лестницу.

Хотя крик заметно смолкал, чувствовалось, что медведь из округа вышел, но полковник не хотел этому верить. Он послал Мирона подбодрить загонщиков. Крик приближался. Уже из лесу слышался разговор. Вот из чащи показалась пара лаптей... вон мальчишка вышел с расстегнутым воротом, вон баба... а вот и Кузьма с Мироном.

— Что же ты, долговязый черт, — набросился на него полковник, — чего смотрел?

— Что делать, сударь! За хвост его не ухватишь, — отвечал уныло Кузьма.

— За хвост! Тебя за бороду надо!

— Воля милости вашей, как угодно, а что ведьмедя действительно выставили.

— А он куда ушел? — спросил господин в очках.

— Да ведь бог его знает, — отвечал неохотно Кузьма.

— Он теперича бежит... Он теперича... с ним теперича ничего не сделаешь. Хоть на лошади — его никак невозможно... — пояснил Мирон.

На поляне рассуждали вышедшие из лесу загонщики.

— Уж как старались — страсть!

— Мы в кругу были. Он как прыснет, да влево и ударился... Ударился он влево, а мы...

— Он мимо меня два раза пробег.

— Снегу сколько я наглотался, полон рот.

— Какой зверища-то здоровенный!

— Да, этакой подберет под себя — пить запросишь.

— Так озяб, пропади эта охота совсем! Ноги так задервенели — на печь, пожалуй, не влезешь.

Молодой человек в изящном полушубке пошел в лес, думая найти убитого медведя. Выстрелил там два раза в дерево и опять вышел на поляну.

Все поехали обратно. Черкес при въезде в деревню убил в упор петуха, промолвив: «Тебе этого, что ль, хотелось?»

«Новое время». 4 ноября 1879 г.

УТОПЛЕННИК

Сцена из народной жизни.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Потап
Кузьма
Матвей
Демка
} работники на перевозе.

Никита, племянник Потапа, 7 лет мальчик.

Открытый шалаш на берегу реки. На реке паром. Занимается заря.

Кузьма. Как книжка-то прозывается?

Матвей. «Черный гроб, или Кровавая звезда».

Потап. Книжка занятная. В старину, говорят, и в нашей стороне тоже разбойник жил. Знаешь, Булаткин лес... там просека-то...

Кузьма. Как не знать.

Потап. Тут он и жил. И грабил как... страсть! Проезду не было. Дедушка покойник сказывал — он еще махонькой в те поры был: бывало, говорит, соберет махоньких ребятишек к себе в лес, и ничего, не трогает; не то чтобы, к примеру, бил али что, — ничего. Ходи, говорит, ребята, завсегда.

Матвей. Ребят он не трогает. Парнишку махонького за что? Хошь бы вот Микитку? Его за виски, коли он забалуется... Вот его сейчас. *(Берет Никитку слегка за волосы.)* Что, чертенок?

Никита *(смеется)*. Больно!

Матвей. А тебе не больно хотца? *(Никитка смеется.)* Постой, я тебя произведу. Бог даст, подрастешь — репу воровать обучу. Ишь ты, верченой!

Кузьма. А ты, Микитка, скажи: я, мол, и без тебя воровать-то умею.

Никита *(смеется)*. Я и без тебя воровать-то умею.

Матвей. Умеешь?! Ах ты, паршивой! Так ты умеешь?!. *(Тянется к нему.)*

Никита со звонким смехом прячется за Потапа.

Кузьма. Микитка, скажи: жену, мол, свою собственную на чаю пропил.

Никита. Жену на чаю пропил.

Кузьма. Свою собственную.

Никита. Собственную.

Матвей. Убью! За ноги, да так в реку и брошу, и матери не скажу.

Никита. Не смеешь!

Потап. Полно, дурашка! Ложись так-то.

Никита ложится на армяк.

Матвей *(одевает его)*. Где такой вор-парень родился, в каком полку он служить будет, на какой народ воевать пойдет?..

Потап. Раз дедушка с ребятами пришел к нему...

Кузьма. К разбойнику-то?

Потап. Да... в лес-то. А он и говорит: «Скажи, говорит, старосте, чтоб беспременно в Спасов день на поклон приходил, а то, говорит, красного петуха к вам пущу». Староста заартачился, а он ночью село с обеих концов и зажег. Все тогда погорело! Церква была у нас большая — и церква сгорела. Вот где теперь крест-то стоит, тут церква была. В те поры, как она погорела, крест на самом на этом месте и поставили, чтобы во веки веков стоял... Чтобы, значит, чувствовать.

Кузьма. Чтобы мы это понимали.

Потап. Да, известно. Как, значит, тут церква была и вот теперича, например, крест. И это дедушка сказывал, как эта самая церква загорелась, сейчас до самого неба огненный столб встал... верст за пятьдесят его было видно. И стоял этот столб...

Демка *(входит)*. Словно бы по берегу кричит кто-то.

Матвей. Что ж, пущай кричит.

Демка. Может, тонет кто.

Кузьма. Мелко, не утонет.

Потап. Коли ежели около дубу кто сорвался — утонет: там глубоко!

Демка. Лодку нешто отвязать...

Матвей. Что те коробит-то, черт!

Демка. Да мне все одно, я так сказал. *(Садится.)*

Матвей. Кто теперь на реку пойдет, кому нужно?

Демка. Я, братцы, однова тонул.

Матвей. Пьяный?

Демка. Выпимши.

Матвей. Выпимши нехорошо: долго на воде проваландаешься; а пьяный — любехенько: ровно бы ключик, так и опустишься да сядешь на донышко пузырики пущать.

Демка *(вздрагивает)*. Страсть!

Матвей. Река никого не помилует.

Кузьма. Что говорить.

Потап. А меня раз в Волге сом за ногу ухватил.

Все смеются.

Матвей. Вот на черта-то наскочил.

Потап. Сейчас издохнуть.

Демка вздрагивает.

Матвей. Да ты что трясешься-то, аль с фальшивым пачпортом по белу свету гуляешь?

Демка. Да так, братец мой, как вздумаю это я, как было утоп-то, так индо лихоманка прохватывает.

Кузьма. Да где же ты это?

Демка. В Прокшинском бочаге.

Матвей. Эк, тебя лешой-то куда занес!

Демка. Были мы у кума на менинах, в Прокшине. Ну, известно, напились. И так я этого хмелю в свою голову засыпал — себя не помню. Кума прибил *(Все смеются.)*, тетке Степаниде шаль изорвал... Просто, сейчас умереть, лютей волка сделался. И с чего бы, кажись: окромя настойки ничего не пили. Кум-то: «Что ж ты, говорит, мою хлеб-соль ешь, а сам...» — да как хлясь меня в ухо, хлясь в другое!.. И так мне, пьяному-то, обидно показалось, кажись бы, так вот зубами весь потрох из его выворотил! Вышиб я окно, выскочил на улицу да бежать. Дело-то в самое в воздвиженье было. Ночь темная, дождик так и хлещет. Выскочил-то я в одной рубахе, да и бегу ровно очумелый, и не знаю, куда бегу, больно

уж злость-то меня одолела. А собаки со всего-то Прокшина за мной... Батюшки мои! Просто на части рвут.

Кузьма. Вот оказия-то!

Демка. Бежал-бежал... раз! Сорвался в овраг, да колесом вертелся-вертелся... бултых!

Потап. В самый этот бочаг?

Демка. Да.

Кузьма. Ну, чудо!

Демка. Помню маленько: рукой это по воде-то бью, а голосу уж этого во мне нет. Ровно бы очувствовался, да и думаю: тону. Как вздумал я это, так ко дну и пошел.

Потап. Значит, испужался.

Демка. Мырнул опять наверх-то, ударил рукой-то, должно, плыть хотел, — в руку мне ровно бы что-то попало. Весь хмель соскочил! Куст тут был; прут от него мне в руку-то и попал; за куст-то я и уцепился. Тут уж в разум пришел. Вижу, братец, ночь темная, хошь глаз выколи, ветер так и воет. Висел-висел на кусту-то, слышу: собаки залаяли, и огонек показался. И закричал же я, братцы, огонечек-то увидамши!.. Давай теперича тысячу рублев — так не крикнешь. Два года опосля глотка болела. Слышу и там кричат... Народ прибежал с фонарями.

Матвей. Как же нашли-то?

Демка. По собакам, собаки означили. Жена за мной выскочила, а за ей и гости, которые побежали. Вытащили меня, привели к куму, опять я этой настойки выпил три стаканчика, согрелся... *(Прислушивается.)* Взаправду кричат... *(Выбегает из шалаша и снова возвращается.)* Выходи все! *(Все выходят.)* Слышь!

Все смотрят друг на друга вопросительно; с противоположного берега слышится глухой стон.

Матвей. Далече!..

Потап. Окрикни.

Матвей. Держись!.. Держи-ись!

Снова слышится стон.

Демка. Тонет, братцы!

Потап. Постой. *(Прислушивается.)* Да! Чья-то душа богу понадобилась. Отвязывай лодку.

Матвей. Эка, наша река блажная! Сколько она за лето народу переглотает.

Берут весла, отвязывают лодку. Матвей с Демкой садятся.

Потап. Садись живо. Матюха, отчаливай. Права держи... На голос ступай. Ах ты, господи!..

Лодка быстро отваливает.

Кузьма. Где найти: долго больно держался-то! Демка-то еще когда сказывал, что кричит.

Потап. Поди ж ты.

Кузьма. Слава богу, что ночь-то светлая. Ишь ты, зоря-то... белый день... Да вон, вон... видишь — плещется...

Потап. И то!

Кузьма *(кричит)*. Вправо забирай!..

С лодки слышатся голоса: «Держись! Держи-ись!»

Потап. Бог милостив. Видишь... окунулся. Вон... опять выскочил. *(Следят внимательно.)*

Кузьма. Сохрани, господи, всякого человека.

Потап. Не видать?

Кузьма. Опустился!.. Должно, конец его душеньке...

Потап. Кричит что-то. *(Долго смотрят с напряженным вниманием.)*

Кузьма. Вон поплыл, вон поплыл... Должно, вытащили. Как-то бог дал.

По реке раздается неясный говор; всходит солнце; Потап и Кузьма крестятся; лодка подходит к берегу.

Потап. Что, братцы?

Матвей. Подержи лодку-то. Чуть было сам не утоп. Какой тяжелой, бог с ним. Принимай, ребята.

Потап с Кузьмой выносят труп на берег.

Потап. Не опущай наземь. Качай так.

Матвей. Ничего не поделаешь, — мертвый.

Кузьма. Взаправду мертвый.

Потап. А может... *(Начинают откачивать.)* Только, ребята, чтобы не разговаривать, не пужать.

Демка. Нет, братцы, смотри-ко: спина-то у его как посинела.

Все смотрят.

Кузьма. Да.

Потап. Воды много наглотался.

Демка. Долго очненно.

Кладут труп на рогожу.

Матвей. Как ухватил-то я его, еще он, ровно бы, жив был.

Демка. Подошли-то как мы, еще он держался.

Потап. Мы видели.

Матвей. Долго очненно в воде-то я его искал. *(Выжимает подол рубашки.)* Продрог как... Ухватил я его за волосья-то, словно бы маненько шевелился.

Потап. Какой здоровенной парень-то.

Кузьма. Надо быть, купец.

Демка. Купец и есть: ишь, какая одежина-то.

Матвей. И как, братцы, это он попал?

Потап. Как попал! Может, ограбили да бросили. Большая дорога по той стороне-то пошла...

Кузьма *(покрывая труп рогожкой)*. Отмаялся ты на сем свете, голубчик.

Никита выходит из шалаша; слышится звон колокола.

Потап. В монастыре к заутрене ударили.

Все крестятся.

Упокой, господи, душу раба твоего.

Все. Упокой, господи.

Матвей *(к Никите)*. А ты что ж не крестишься? Крестись.

Никита *(бессознательно)*. Упокой, господи, душу раба твоего.

Потап. Что ж, ребята, теперь ступай к становому. Объявить надо, так и так...

Кузьма. Затаскают нас, братцы, теперича.

Демка. Да, не помилуют. Пожалуй, и в острог влетишь!

Кузьма. Хитрого нет.

Матвей. За что?

Демка. А за то.

Матвей. За что, за то!

Демка. Там уж опосля выйдет разрешение...

Матвей. Коли ежели так, я его опять в реку сволоку.

Д е м к а. Экой дурак! Ты крещеный ли?

М а т в е й. Да как же! За что ж меня в острог...

Д е м к а. Я сидел раз в остроге-то, за подозрение. Главная причина, братцы, говори все одно, не путайся. Месяца два меня допрашивали. Сейчас приведут тебя, становой скажет: «Вот, братец, человека вы утопили; сказывай, как дело было». Ничего, мол, ваше благородие, это я не знаю; а что, собственно, услыхамши мы крик, и теперича, как человек ежели тонет, отвязали мы, значит, лодку...

К у з ь м а. Ну вот, ребята, слушай, да и помни. Чтоб всем говорить одно.

М а т в е й. Отвязали мы лодку, подошли к энтому самому месту и, значит, вытащили.

К у з ь м а. Мертвого?

М а т в е й. Вестимо, мертвого.

К у з ь м а. То-то.

Д е м к а. А насчет того, что откачивали, — молчи. Потому скажет: как ты смел до его дотронуться? Какое ты полное право имеешь? Коли ежели человек помер, опричь станового никто не может его тронуть. Так вы это и понимайте.

М а т в е й. Ишь ты, лохматый черт, как он судейские-то дела произошел.

Д е м к а. Я, мол, как свеча, горю перед вашим благородием, прикажите хоть огни подо мной поджигать, — я ничего не знаю. «Я, скажет, братец, верно знаю, что это ваше дело». Говори одно: как вашей милости будет угодно, я этому делу непричинен.

П о т а п. Так, значит, все так и говори. Баб-то нет, некому над тобой и поплакать-то.

Д е м к а. Может, матушка родная по ем теперича плачет.

М а т в е й. Кто ж, ребята, пойдет?

Д е м к а. Да я пойду.

П о т а п. Ступай, брат. Ты насчет разговору лучше.

Д е м к а. Я разговаривать с кем хошь могу. *(Идет в шалаш.)*

К у з ь м а. Ах, господин честной, хлопот нам твое тело белое понаделало.

П о т а п. Богу там за нас помолит.

«Современник». № 1, 1862 г.

НА РЕКЕ

Сцена из народного быта

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Дедушка Степан, старик, лет 60, сторож опустевшей барской усадьбы.

Иван, крестьянин, егерь.

Владимир, Ардальон — лакеи.

Вася, Настя, Гришка, Дема и другие — крестьянские дети из ближнего села.

Жареный, 16 лет, учился в Петербурге у портного, отдан родственникам по приговору окружного суда.

На берегу реки, поросшем ивой, землянка. Из реки выдался в берег большой камень. На противоположном крутом берегу старый барский дом, с заколоченными окнами.

ЯВЛЕНИЕ I

Дедушка Степан сидит у землянки, чинит сапог, Иван подходит.

Иван. Бог помощь, дедушка Степан.

Дедушка Степан. Спасибо, милый человек, спасибо тебе. Что бог дал?

Иван. Плохо!.. Пару чирят... *(К собаке.)* Куш, ляжь тут, подлая.

Дедушка Степан. Что мало?

Иван. С ружьем что-то... оченно отдавать стало... нет никакой возможности. Утрось зайца хлестанул, насилу

сам на ногах устоял... В кузницу надо зайти, казенник отвернуть... Ильич не проходил?

Дедушка Степан. Выпалил тут кто-то по реке.

Иван. Должно, он, окромя его некому. Надо полагать, он теперича к Кривому колену ударился.

Дедушка Степан. Отошел он, значит, от генерала-то?

Иван. Отошел, места ищет.

Дедушка Степан. А житье, кажись, ему было хорошее.

Иван. Умирать бы не надо, но только и терпеть нет никакой возможности.

Дедушка Степан. Ну!

Иван. Очень уж дерется... Так дерется — страсть! Ежели он теперича стреляет и как, например, мимо — сейчас егеря в ухо. Лучше не стой близко... Сапожки гоношишь?

Дедушка Степан. Да, парнишке Мавриному... починить просил...

Иван. Это черненький-то?

Дедушка Степан. Да, черненький. Вчера прибежал: «Дедушка, говорит, почини». Такой шустрый мальчишка, я таких и не видывал. Даром что махонькой, от земли не видать, а пойдет говорить — складнее барского сына. Ежели бы его в ученье в какое хорошее...

Иван. Ты ребят уж больно балуешь, сказывают.

Дедушка Степан. Целый день они у меня тут. Вот жар-то посвалил, все сейчас прибегут. Васютка уж вон там под ивой старается, удит. С большим мне, друг, хуже, верно тебе говорю... не люблю... а парнишко придет — первый он у меня человек. Ты думаешь, парнишко что? Он все понимает, все смыслит, только ты его не бей, не огорчай его...

Иван. Что ты, дедушка Степан, разве возможно их не бить? Первое дело — без этого он не вырастет, а второе дело — ежели его не бить, он тебя почитать не станет... Не очень чтобы бить, а так потрепать инный раз — это очень им в пользу.

Дедушка Степан. Стало быть, ты слов не умеешь, коли малого ребенка бьешь...

Иван. Да я не бью, мне, примерно, все одно, только словно бы без этого невозможно... Нас тоже лупили порядочно... В фолеторы меня махонького взяли, так, бы-

вало, кучер тебя прибьет, да дворецкий тебе накладет... а в трактир-то в ученье отдали, там пять годов сряду били... Очинно уж раз мне пришлось, пошел хозяину жаловаться, так меня сейчас за бунтовство в часть отправили; да чуть было на поселенье не сослали, целый день у хозяина в ногах валялся...

Собака бросается за птичкой.

Еси сюда, подлая!.. Убью!..

Дедушка Степан. Хорошего мало, милый человек.

Иван. Ну, постой! Так будем говорить: наше дело простецкое, а по купечеству теперича не к нам их, к мужикам, приравнять, — теперича я на фабрику к купцу Гладкову дичь представляю, к механику, к англичанину, так вот я тебе что скажу: так этот купец своих детей жучит, что лучше требовать нельзя. А купец значительный, дочь у его за полковником... Значит, следует.

Дедушка Степан. Бьет шибко, а дети все пьяницы вышли.

Иван. Пьяницы как есть, это что говорить... Пьяницы настоящие. Намедни было фабрику пьяные сожгли... а Семен Митрич вот из этого самого ружья у тешиловского мужичка лошадь застрелил. Блажной!.. Опух теперь весь, и хозяйка от его сбежала, в Москве путается...

Раздается выстрел.

Это Ильич!.. Прощай, дедушка Степан...

Дедушка Степан. Дай бог час!

ЯВЛЕНИЕ II

Вася показывается из-за куста.

Вася. Дедушка, ребята идут, должно, тоже рыбу ловить...

Иван (*закуривая трубку*). А ты, Васютка, умеешь рыбу-то ловить?

Вася. Умею.

Иван. Врешь?!

Дедушка Степан. Хорошо ловит, старается.

Вася. Я намедни такую щуку выворотил, индо удилище затрещало... За три гривенника мы продали...

Дедушка Степан. Щуку важную ухватил! Рыболов будет чудесный...

Иван. Ну, помогай бог... Прощайте... *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ III

Те же, без егеря.

Вася. Дедушка, мы их сюда не пустим, они только рыбу пужают.

Дедушка Степан. Рыбы в реке, батюшка, много. В реке рыба, в лесу птица — все на пользу нам дал господь царь небесный.

Вася *(всматриваясь)*. Дедушка, и портной с ними.

Дедушка Степан. Я этого портного... Приди он только! Я ему покажу, как рыбу травить. Ты и не знайся с им, батюшка: окромя худого, от него ничему не обучишься.

Вася. Он намедни в матку в свою камнем запустил... Уж и драли же его за это. Матка-то завыла, мне, говорит, с им не совладать, а сусед его и поймал... Уж он его вожжей хлестал-хлестал...

Дедушка Степан. Ишь ты, в родительницу!..

Вася. Он говорит, она ему не мать, а сродственница; у меня, говорит, нет ни отца, ни матери; меня, говорит, из воспитательного дому сюда оборотили...

ЯВЛЕНИЕ IV

Подходят несколько ребят.

Все. Здравствуй, дедушка Степан.

Дедушка Степан. Здорово, молодчики! Далеча ли срядились?

Гришка. Корье, дедушка, драли, домой идем.

Дедушка Степан. Рыбу завтра ловить приходите.

Гришка. Неколи. Ноне корье драли, а завтра лекарь с фабрики велел, чтобы беспременно мать-мачеху рвать.

Дедушка Степан. Там, у старой плотины, ее тьма-тьмущая.

Гришка. Мы туда и пойдем. Мы и летось там же рвали.

Дема. Да и за Пьяным бором, по ручью, сколько хошь.

Вася. Мы туда завтра за муравлиными яйцами...

Дедушка Степан (*к портному*). А ты слышишь: ежели ты будешь окормок в реку кидать, рыбу травить, я тебя, знаешь... Ишь ты, непутный...

Жареный (*становясь в позу*). Не страшно!..

Дедушка Степан. Ты у нас тут всю рыбу потравил, озорник этакой! Рыбу бог нам на потребу создал, а ты ее травишь. Бесстыдник! Вася, порой, батюшка, червячков, а я пойду вершу погляжу... Я тебя так пугну отсюда, что ты у меня и своих не узнаешь. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ V

Те же, без дедушки.

Жареный (*вслед Степану*). Старый черт!

Ребята смеются.

Вася. Что ж ты дедушку-то ругаешь, он постарше тебя.

Жареный. Стара у попа собака! Я все ваши верши перережу... а сторожку сожгу... ей-богу, сожгу... (*Кидает в воду камень.*)

Гришка. Что рыбу-то пужаешь! Черт!

Жареный. Ноньче ночью я к попу в сад за яблоками...

Дема. Не поспели еще... зеленые...

Жареный. Печеные они ничего, скусно.

Дема. А шея-то у тебя крепка?

Жареный. Крепкая, крепче твоей!.. Когда я в Обуховской больнице лежал, со второго этажа меня спустили...

Гришка. За что?

Жареный. За бельем мы с товарищем у Вознесенского мосту на чердак залезли, а дворники нас и выждали... Пашке сейчас лопатки назад, а я, пока его крутили, хотел шмыгнуть — старший дворник как звизнет меня, так я и покатился...

Все смеются.

Сейчас в больницу. Доктора эти мяли меня, мяли. Нутром, говорят, здоров, только в ребрах у него повреждение.

Дема. Вот так приладил!

Жареный. Порядочно!.. Вылечили меня и сейчас в острог. Следователь допрашивать стал: «Повинись, говорит, скажи, как дело было?» — «Ничего, — говорю я, — не знаю, потому как мне дворники память отшибли и по этому случаю я в больнице лежал». Опосля этого в суд повезли... народу, братец ты мой, жандармы... Сейчас всех присягу примать заставили. «Ты, говорит, какой веры?» — «Здешней», говорю. «Воровал белье?» — «Никак нет, а что дворники меня били оченно и даже теперь рукой владеть не могу».

Дема. Я бы, кажись... *(Смеется.)* Уж оченно страм!..

Жареный. А уж меня в остроге один мещанин обучил: «Ты, говорит, главная причина, говори одно: били, да и шабаш». И вышло нам такое разрешение: Пашку в арестантские роты служить, а меня в деревню по етапу. К покрову, бог даст, я опять в Санкт-Петербург уйду.

Гришка. А ежели опять поймают, такова жару зададут.

Жареный. Там канпания большая — ничего. Уж оченно там жисть хорошая... слободно... Раз мы в киятре у одного барина...

Из кустов показывается дедушка Степан.

Старый черт этот опять идет... Пойдем, братцы... *(К Васе.)* А ты ему скажи: будет он меня помнить! Я ему покажу. В киятре мы раз у одного барина... *(Уходят.)*

ЯВЛЕНИЕ VI

Вася садится на камень и закидывает удочку. На противоположном берегу показывается Настя.

Настя. Васька, матушка велела домой чтобы...

Вася *(насаживая червя)*. Я заночую здесь.

Настя. Матушка серчает. Совсем, говорит, от дому отбился.

Дедушка Степан. Скажи, голубка, дедушка, мол, завтра сам приведет. Они, мол, к вершам пойдут.

Настя. Раньше приходите. Прощайте.

Дедушка Степан. А ты бы... того... рыбу-то бы с собой захватила, сковородки на две у нас будет. Скажи матери, Васютка все наловил.

Настя. Да он ловить-то не умеет.

Дедушка Степан. Нет, ловит важно.

Вася. Я сейчас головля поймал...

Дедушка Степан. Свежая она теперь... Поужинаете...

Настя. Завтра на покос пойдем, обжарим...

Дедушка Степан. А косить-то еще много?

Настя. Росы на две еще хватит. Спасибо, дедушка. Прощайте.

Вася отталкивает лодку на противоположный берег и возвращается.

Вася. Щука давя плеснула вон у энтого куста... здоровая!..

Дедушка Степан. Лукавая эта рыба-то... Что-то бог нам в верши послал...

Вася. А далече, дедушка, отсюда?

Дедушка Степан. Нет, недалече... Вот мы поужинаем, да и поедем... Тихо теперь, хорошо... *(Режет хлеб.)* Садись, батюшка... *(Садятся.)* Господи благослови. Ешь, во славу божью. Ты бы лучку погрыз, посолика его, да хорошенько... Вот так.

Вася. Дедушка, намедни к нам посредственник приезжал, народ на сходку сколачивали, чтобы с души по полтиннику и ребят, значит, всех грамоте обучать. А опосля того волостной всех ребят собирал. «Я, говорит, тетка Варвара, Васютку первого возьму». Три копеечки мне дал...

Дедушка Степан. Это за твою добродетель...

Вася. А мужики которые, мы, говорят, ребят своих не выдадим... В кабаке подрались. Коряга уж оченно кричал.

Дедушка Степан. А волостной-то что?

Вася. Долго он с ними ругался, а Коряге говорит: «Я тебя, говорит, в солдаты отдам». А Коряга ему: «Я, говорит, три затылка зарастил, — меня отдать невозможно...»

Дедушка Степан. Это, батюшка, хорошо. Ежели ты обучишься, — первый человек будешь. Кто пером

умеет, такому человеку завсегда просвет есть. Не токма по-нашему, по крестьянскому делу, а ежели и господин, который необученный... Доедай, доедай, голубчик, простынет.

Вася. Я уже сыт.

Дедушка Степан. Ну и слава тебе господи. Бог напитал, никто не видал!..

Вася. Темно как стало.

Дедушка Степан. Темно. Теперь лихому человеку хорошо, теперь уж лихой человек на дорогу вышел.

Вася (*заливает*). Я боюсь ночью-то.

Дедушка Степан. Чего, голубчик, бояться. Доброму человеку бояться нечего, лихих людей здесь нет, они теперь на проезжей дороге али к городу где поближе, где народ ходит, а здесь им делать нечего — люди мы с тобой бедные, взять с нас нечего.

Вася. Страшно очень. Раз мы с матушкой за хворостом ездили да в овраге к ночи-то и застряли...

Дедушка Степан. Испужались!

Вася. Страсть!.. А в барском доме, дьячок сказывал, никому невозможно ночью пройти...

Дедушка Степан. Ну!..

Вася. Сейчас умереть!

Дедушка Степан. Что ж там?

Вася. А старый барин там по ночам ходит.

Дедушка Степан. Зря болтают, батюшка. Сам я ему, голубчику, и могилку-то копал, и косточек-то его, поди, нет теперь.

Вася. Нет, дедушка, видели — ходит... Сердитый...

Дедушка Степан. Полно, глупенькой, врать-то...

Вася. Очень уж мне жутко, дедушка.

Дедушка Степан. А ты сотвори молитву... Садись в лодку.

Вася (*садится*). Темь какая по реке-то... Тихо...

Дедушка Степан (*зажигая фонарь*). Ночь, батюшка... Ночью завсегда тихо. А ты вот что: ты реки ночью не бойся... Я с малых лет на реке живу, с малых лет я ее знаю... Говорят ежели что, ты этому не верь, мало что бабы болтают. Вот ежели в лесу, там страшно — и зверь попадается, и все... а в реке, окромя рыбки-голубушки, никого нет, и та спит теперь. Вот мы верши посмотрим да в стогу и заночуем... сено-то свежее... чудесно!.. (*Отпихивает лодку от берега.*)

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же и Иван, Владимир, Ардальон

За сценой: «Степан Архипыч, погоди, нас на ту сторону перетолкнешь».

Иван. Я им на устреть пошел, а они тут.

Дедушка Степан. Охотничкам, егерям почтенным!

Владимир. Степану Архипычу самое низменное!

Дедушка Степан. Здравствуй, Володюшка, здравствуй. *(К Ардальону.)* И ты с ними бродишь?

Владимир. Скуки ради и он с нами. Человек без дома — тоска одолеет. Сверни папиросочку.

Ардальон. Сейчас, Владимир Николаич.

Владимир. Мы ведь, собственно, не охотиться, а для развлечения... даже гитару с собой носим.

Ардальон. Извольте, Владимир Николаич.

Владимир. А вы тут огонек разложите.

Дедушка Степан. Без огня скучно.

Владимир. Да с огнем еффехтней, это твоя правда. А ежели можно у тебя рыбы какой достать и уху нам сейчас приготовить? Я бы теперь порционную стерлядку по-русски съел.

Иван. А то по какому же ее есть?

Владимир *(с иронией).* Дурак!

Иван. Посмотрю я на тебя, Владимир Николаич, барином тебя назвать нельзя, а говоришь ты...

Владимир. Поживи в обществе — и ты будешь говорить по-другому... Так можно относительно рыбы?

Дедушка Степан. Сейчас, батюшка, гость дорогой. Вася, поди-ко с ведерочкой, сачок возьми. Зацепи там... сейчас, батюшка, сейчас. Давно ты не бывал у меня... Прежде все бывало...

Владимир. Обстоятельства разные... да и некогда.

Иван. Опять это и барин его теперича прогнал, места искать надо... А места нынче — поди-ко сунься.

Владимир. Нас никто не прогонит, мы сами уйдем, но бить себя не позволим... Не тронь! Не то время! Другой коленкор, вот что!.. *(К Ардальону.)* Дай огня.

Ардальон. Сейчас, Владимир Николаевич.

Дедушка Степан. Что у вас за дела с ним вышли?

Владимир. Сам посуди, Степан Архипыч, человек ты умный: нет никакой возможности. При моем положении и вдруг...

Иван. В ухо!

Владимир. Ведь это черт знает что такое!..

Дедушка Степан. Хорошего мало.

Владимир. У меня крестный отец титулярный советник, крестная мать... какими они глазами на меня смотреть должны... Нет, шалишь!.. Не позволю!

Ардальон. Ежели над собой позволять...

Владимир. Сверни папироску.

Ардальон. Сейчас, Владимир Николаич.

Владимир. Раз ему спустил, два спустил, на третий говорю: «Нет, говорю, ругаться вы можете сколько угодно, а оскорблять действием я себя не позволю. Не тот коленкор!» Поехали мы зимой на медведя, а я в это самое время влюблен был и, как нарочно, в этот день свидание назначил. Ты знаешь, что значит девушке свидание назначить и, между прочим, обмануть. И ее в конфуз поставить, и самому стыдно. Смерть мне ехать не хотелось, но делать нечего. Стали на номера. Мороз, страсть! Прислонился я к дереву, да и думаю: жуирует она теперича жизнию, делает променаж по Невскому, без друга... а я здесь зябну как собака. И так мне грустно стало, такие мечты пошли...

Ардальон. Известно, в этаком положении.

Владимир. Дай огня.

Ардальон. Сейчас, Владимир Николаич.

Владимир. Думаю: как бы мне было приятно заключить ее в своих объятиях, в это время медведица, пудов четырнадцать... фюить!.. За линию... Так я и замер...

Иван. Ну, а он тебя сейчас клочить — не зевай... Я бы тебя не так; я бы тебя...

Вася *(входит)*. Два головля, четыре окуня, а плотву я не считал.

Владимир. Заправляй скорей... *(К Ардальону.)* Ну-ко, сделай коленце. *(Играет.)* Али песню спеть... Затягиваю. *(Поют.)*

Не шумите-ко вы,
Да вы ветры буйные!
Не бушуйте-ко вы,
Да вы леса темные!

Ты не плачь-ко, не плачь,
Душа красна девица...

Иван. Нет, постой, вот что: помнишь, ты в кабаке действовал...

Владимир. В каком кабаке?

Иван. Пьяный в те поры... в Саюкинском... Пел он, Степан Архипыч, песню санкт-петербургскую, как чудно... страсть!..

Владимир. Я не помню.

Иван. Да об покрову... Ну, еще тебе лопатки назад скрутили... И что вы, черти, в те поры водки сожрали... Кажинный по стаканчику поднес, песня-то очень складная.

Владимир. Играй.

Ардальон играет.

Я по травке шла,
Тяжелехонько несла —
Коромысло да валек,
Еще милого платок.
Я на камушек ступила,
Чулок белый замочила.
Мне не жалко туфелька —
Жалко белого чулка.
Я с хозяином расчелся —
Ничего мне не пришлось.

Иван. Жизнь вам, холуям, умирать не надо.

Сборник «Складчина». 1874 г.


Генерал
Дитятин

ТОСТ ГЕНЕРАЛА ДИТЯТИНА

— Милостивые государи, вы собрались здесь чествовать литератора сороковых годов, отставного коллежского секретаря Ивана Тургенева.

Я против этого ничего не имею...

По приглашению господ директоров, я явился сюда неприготовленным встретить такое собрание российского ума и образованности.

Хотелось бы говорить, но говорить, находясь среди вас, трудно: во-первых, разница наших взглядов, во-вторых, свойственная людям моей эпохи осторожность. Нас учили больше осматриваться, чем всматриваться, больше думать, чем говорить, словом, нас учили тому, чему, к сожалению, теперь... уже более... не учат.

Милостивые государи, вы слишком молоды! Среди вас нет ни одного, кто был бы свидетелем того перелома и треска в литературе, коего я был свидетелем.

Объяснюсь...

В начале тридцатых годов, выражаясь риторическим языком, среди безоблачного неба, тайный советник Дмитриев был внезапно обруган семинаристом Каченовским.

Подняли шум...

Критик скрылся...

Далее, генерал-лейтенант, сочинитель патриотической повести двенадцатого года, Михайловский-Данилевский был обруган.

Были приняты меры...

Критик испытал на себе быстроту фельдъегерской тройки...

Стало тихо.

Но на почве, удобренной и усеянной мыслителями тридцатых годов, показались всходы. Эти всходы заколосились, и первый тучный колос, сорвавшийся со стебля в сороковых годах, были «Записки охотника», принадлежавшие перу чествуемого вами ныне литератора сороковых годов, отставного коллежского секретаря Ивана Тургенева.

В простоте солдатского сердца, я взял эти «Записки», думая найти в них записки какого-либо военного охотника.

Оказалось... что под поэтической оболочкой скрываются такие мысли, о которых я не решился не доложить графу Закревскому.

Граф сказал: «Я знаю».

Я в разговоре упомянул об этом князю Сергею Михайловичу Голицыну.

Он сказал: «Это дело администрации, а не мое».

Я сообщил митрополиту Филарету.

Владыка мне ответил: «Это веяние времени».

Я увидел что-то странное. Я понял, что мое дело проиграно, и... посторонился.

Теперь, милостивые государи, я стою в стороне, пропуская мимо себя нестройные ряды идей и мнений, постоянно сбивающиеся с ноги, но я всем говорю: «Хорошо!»

Но мне уже никто, как бывало, не отвечает: «Рады стараться, ваше превосходительство», — а только взводные с усмешкой кивают головой.

Я кончил...

И еще раз подымаю бокал за здоровье отставного коллежского секретаря, литератора сороковых годов Ивана Тургенева.

«Русская старина» № 3, 1884 г.

РЕЧЬ, СКАЗАННАЯ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРОМ ДИТЯТИНЫМ ПРИ ОСВЯЩЕНИИ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ЗАЛЫ В ДИРЕКЦИИ ИМПЕРАТОРСКИХ ТЕАТРОВ 28 СЕНТЯБРЯ 1891 ГОДА

Почтеннейшее собрание!

Древние небожители, при разделе между собою почетных должностей, в экстренном заседании на высотах священного Олимпа, отдали театр в ведение трем девицам-богиням — Мельпомене, Талии и Терпсихоре.

Девицы признали невозможным троевластие, то есть совместное правление, и полюбовно разделились между собою.

Мельпомена взяла под свое покровительство драму, Талия — комедию, а Терпсихора — балет.

Поставили девицы свои храмы, утвердили в них жертвенники, которые немедленно обступили жрецы и жрицы.

Первые люди, возложившие свои тучные жертвы на жертвенник Мельпомены, были, если история не ошибается, Эсхил, Софокл и Эврипид; на жертвенник Талии — Аристофан; у жертвенника Терпсихоры юноши и старцы принесли в жертву самих себя.

Все народы мира последовали примеру греков и воздвигли у себя храмы в честь богини сценического искусства.

Шли века...

Палимые огнем, разрушаемые землетрясением, засыпаемые пеплом, гибли великие города, стирались с лица земли целые государства, изменялись народные обычаи

и нравы, но непоколебимо стоял жертвенник богине сценического искусства.

Наконец настал век куртажа и наживы, это теперешний век, в который мы с вами влачим свое существование, и жертва Талии и Мельпомене оскудела.

Не возвышающую душу драму, не услаждающую и веселящую сердце комедию несут к подножию их жертвенников, а раздирающую душу тоску в пяти действиях, мещанскую скорбь в стихах, будни жизни, дурацкий куплет и злокачественную оперетку.

Жрецы, обязанные пожрать все приносимое, стоят около жертвенника в унынии.

> Нет великого Шекспира.
> Жив и здравствует...

Nomina sunt odiosa... [1]

Только на вашем жертвеннике, о жрицы Терпсихоры, горит неугасимо божественный огонь, возженный вашей богиней.

О, как сильно бьется под станиславской звездой мое сердце, когда я взираю на вас, стоящих у жертвенника! Что-то неизъяснимое, что-то таинственное совершается со мной! Душа в одряхлевшем теле наполняется восторгом.

Вспоминаю минувшие дни, проведенные мною в Царстве Польском при Паскевиче, когда я... впрочем, я начинаю увлекаться...

Почтеннейшие художницы! Мы присутствуем при открытии для ваших занятий вновь устроенной залы.

Вам это мало: желаю,

> Чтоб построили вам храмы,
> Золотые алтари,
> Где б курились фимиамы
> От зари и до зари...

А вы перенесите нас в иной мир — в мир очарований, в мир красоты и обаяния, как в былые годы ваши подруги — Фанни Эльслер и Санковская.

> Под такт живых созвучий,
> Чуть касаясь до земли,
> Восхитительной кочучей
> К Андалузии кипучей
> Живо нас перенесли,

---

[1] Не следует называть имен (*лат.*).

Довольно слов!

Содвигнем бокалы,
Чокнемся разом!
Да здравствуют музы!
Да здравствует разум!

Сочинения. т. 2. СПБ., 1904 г.

ПИСЬМО ИЗ БУЗУЛУКА

(Письмо графу С. Д. Шереметеву)

Бузулук. 1 июня 1887 года.

Осматривая по должности вверенные мне артезианские колодцы в России, я, проездом из Оренбурга, остановился для отдыхновения в г. Бузулуке.

Об этом городе вскользь упоминается в сокращенной географии Адольфа Пинкертона, издание 1803 года: «Бузулук был временным пребыванием злодея Пугачева».

А в географии Ивана Гейма более пространно о сем городе сказано: «Бывши в древности сторожевым постом от набега кочующих народов и находясь при слиянии двух рек Бузулука и Самары, сей город в наше время процветает торговлею, утучняя волжские караваны пшеницею».

История сего города мне неизвестна. Есть вероятие, что он основан «вольными людьми», бежавшими в степь «за зипуном», ради грабежа, или просто «от тесноты и жесточи московского государства». Обратившись потом «в сидячих людей», они основали город, представляющий в настоящее время нечто невообразимое.

Населен он дикими купцами и по невежеству своему занимает первое место в Российском государстве.

В административном отношении он подчинен самарскому губернатору А. Д. Свербееву, моему старинному знакомому, а для быстрых, не требующих отлагательства распоряжений — уездному исправнику с товарищем.

Кроме двух рек, в городе имеется грязной жидкостью наполненная канава, «в ней же свиньи преплавают».

Ходят эти свиньи и по улицам, массами и в одиночку.

Летом — ослепляющая пыль, осенью — невылазная грязь, останавливающая движение канцелярских бумаг, прекращающая взыскание и описи имущества, ибо к описуемым в это время пробраться невозможно, и, несмотря на все это, обыватели города Бузулука (здешние барыни называют Бузулюк) точно так же, как люди «в странах, благословенных природою», могут находить счастье.

Процветает невежество, процветает и торговля.

Главная отпускная торговля города — водка. Ее отпускают из складов и оптом, и в розницу, и распивочно, и на вынос.

Совсем обрусевший немец из Марбурга, в детстве сидевший на школьной скамейке с Бисмарком, имеет здесь единственную типографию. Он мне сказывал, что типография его, кроме как этикетов на водку, ничего не печатает.

«Иван Вышнеградский, чувствуй!»

Думаю заняться прожектом экспедиции заготовления водочных этикетов и ярлыков.

В Оренбург я ездил по своим делам частным. У меня там была башкирская земля, но оказалось — ее взяли у меня обратно вследствие ревизии Ковалевского.

Наплевать, не надо!..

Сочинения, т. 2, СПБ., 1904 г.

ПРИЕЗД ШАХА ПЕРСИДСКОГО

(Письмо графу С. Д. Шереметеву)

При жаре, достигающей по Реомюрову градуснику до 30 градусов, берусь за перо, чтобы побеседовать с Вами. Мы, старики, болтливы, а потому не осудите меня, если письмо мое будет длинно, а может быть, и бессодержательно. Это будет зависеть как от жары, так и от некоторого чувствоваемого мною в последнее время мозгового переутомления.

Начну со встречи шаха персидского, которую я смотрел с балкона гостиницы коммерции советника и кавалера Константина Палкина.

Быстрый проскок его величества, царя царей, не дал мне возможности рассмотреть орлиный взор его, один только нос повелителя Ирана неизгладимо запечатлелся в моей памяти. Не одними только внешними украшениями — алмазами и бриллиантами — выделяется он из среды своих подданных: величайшему из земных царей дарован природою величайший из земных носов нос.

Репортеры хотели было подвергнуть его осмеянию, но им внушили, чтобы они не касались этого предмета, как предмета для иранцев священного, дабы не испортить наших переговоров относительно Персидского залива.

Сэр Морриер приказал своим агентам тщательно просматривать русские газеты, чтобы найти предлог испортить наши отношения. Известно, что англичане всячески

стараются отвлечь наше внимание от Персидского залива и добровольно предлагают нам морскую стоянку в Баб-ель-Мандебском проливе. Это мне откровенно рассказывал генерал-адъютант шаха Насируль-Мульк, с отцом которого я был знаком в Реште в 1838 году.

На другой день по приезде был представлен шаху, когда его величество сидел в ванне, содержатель увеселительного сада «Аркадия» Гюнцбург — в комическом виде представлял итальянских певцов.

Звезда Льва и Солнца 2-й степени.

По выходе из ванны представлялось бесчисленное множество фотографов.

Звезды разных степеней. Генерал-фотографу Насветевичу 1-й степени.

Старый друг мой тайный советник Гамазов представил его величеству мои сочинения:

1. «Превосходство кремневого ружья».

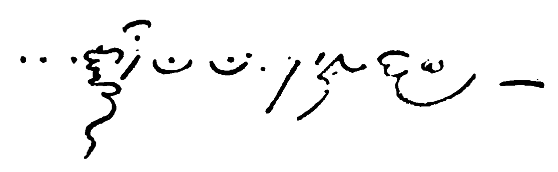
Мысли старого служаки (Москва, в тип. Селивановского, 1843 г.).

2. «Ошибки военачальника в битве при реке Калке». Военно-критический этюд. Извлечен из журнала «Благонамеренный».

3. «Неудобства пистонного запала». Извлечен из журнала «Инвалид», 1846 г.

4. «Возможность столкновения на реке Шпрее». Рассуждение. Извлечен из журнала «Московский листок», 1888 г.

Принято благосклонно. Последнее сочинение приказано перевести на персидский язык. Собственноручно написано:



Что значит:

«Благодарю. Не оскудевай умом».

А фотографам звезды:

— О Восток!

Зимним дворцом остался очень доволен. Все время пребывания повторял одну фразу:

— Пале манифик! Электрик манифик![1]

От портрета Паскевича отвернулся. Эривань вспомнил.

Не любишь!..

В Сербии нехорошо, в Испании тоже: по газетам, королева уехала в Аранхуец.

Сочинения, т. 2, СПБ., 1904 г.

---

[1] Дворец великолепен! Электричество великолепно! (*франц.*)


Очерки
о старой
Москве

ИЗ МОСКОВСКОГО ЗАХОЛУСТЬЯ

Рассказ

I

Давно уж это было, в тридцатом году, в первую холеру. Тихо жили тогда в Москве. Вставали на восходе, ложились на закате. Движение было только в городе, да на больших улицах, и то не на всех, а в захолустьях, особенно в будни, целый день ни пешего, ни проезжего. Ворота заперты, окна закрыты, занавески спущены. Что-то таинственное представляло из себя захолустье. Огромная улица охранялась одним будочником. Днем он сидел на пороге своей будки, тер табак, а ночью постукивал в чугунную доску и по временам кричал во всю глотку на всю улицу: «По-сма-три-вай!..» Хотя некому было посматривать и не на что: пусто и темно, только купеческие псы заливались, раздражаемые его криком. Полагалось четыре фонаря на всю улицу, и те освещали только собственный свой столб, на котором были утверждены.

— Если ты так кричать будешь, я к квартальному пойду... Всю ночь спать не даешь! — замечал купец будочнику.

— Приказано, — отвечал будочник, — чтобы как можно кричать. Мало ли тут непутевого народу?

— В нашей-то стороне?!

— Бывает. Намедни тут днем у калачника тесто украли.

— Поймали?

— Где поймать — ушел!

— Что ж ты криком-то испугаешь его, что ли?
— Все-таки опаска ему есть...
— Какая же ему опаска: ты кричишь «посматривай», а в переулке кричат «караул».
— Это не у нас: в тупичке извозчика грабили. Два часа голый у меня в будке сидел.

Был в захолустье дом, очень красивый, старинной архитектуры, с колоннами; он стоял пустой, заколоченный. Ходила молва, что в нем обитает нечистая сила. Один купец видел ее собственными глазами. Этому верили все — и Немецкая слобода, и Замоскворечье, и Сыромятники.

Горело захолустье очень часто. Эпохи его считались от пожаров.

— Это еще до большого пожара было.

Или:

— Это еще, когда Балкан не горел.

Ни врачей, ни аптек в то время ни в захолустье, ни близко в окружности не полагалось, да и незачем было. «Все под богом», — говорили обыватели. В самых крайних случаях, и то к очень богатым людям, приглашался штаб-лекарь Воскресенский. Болящие прибегали или к своим средствам — череде, бузине, бобковой мази, разным ладанкам с наговором, или обращались к капитанше Мирзоевой — от золотухи и от ушибов лечила; к сапожнику Разумову — от лихорадки пользовал и от килы знал лекарство; к банщику Ильичу — накожные сыпи понимал; к цирюльнику Ефиму Филиппову — отворял кровь «заграничным инструментом» и помогал от запоя, «пьяного червяка» замаривал. На вывеске у него значилось:

«С дозволения правительства медицинской конторы, заседания г-д врачей, в сем зале отворяют кровь заграничным инструментом пиявочную, баночную и жильную, прическа невест, бандо, стрижка волос, завивка и бритье и прочие принадлежности мужского туалета, по желанию на дом, по соглашению. Экзаменованный фельдшерный мастер Ефим Филиппов и дергает зубы».

Жила в захолустье в собственном доме привилегированная повивальная бабка Юлия Янсон, но к помощи ее никто не обращался, и вывеска у ней болталась для собственного удовольствия.

За воротами дома так же тихо и однообразно, как на

улице. Чисто выметенный двор, до того огромный, что на нем можно выстроить свободно эскадрон кавалерии. Большой сад, в нем рдеют пионы, прозябает калуфер, божье дерево, цветут бархатцы, шапочки, анютины глазки; десятка два яблонь белого налива, несколько кустов крыжовника и смородины. В доме необыкновенная чистота, то есть в тех комнатах, где не живут хозяева, а принимают гостей. Мебель тяжелая, красного дерева; в углу, в больших раззолоченных киотах божье милосердие; на стене часы с боем; на окошке канарейка в клетке. Вот и все украшение комнаты. Тишина... Установленный издревле порядок никогда не нарушался. Как в прошлом году на святках ставили мелом на дверях кресты, так и в этом году будут ставить; как в прошлом году 9 марта пекли из теста жаворонков, так и в этом будут печь их.

Я сказал, что в редких случаях в захолустье появлялся доктор. Эти случаи бывали обыкновенно после масленицы. Въезжала широкая масленица в купеческий дом

С пирогами, с оладьями,
С блинами, с орехами.

За неделю до ее прихода в семье устанавливался порядок встречи ее и проводов. С которого дня приступить к блинам — вопрос был важный; решался он на семейном совете и утверждался самим хозяином.

— Ну, с понедельника, так с понедельника, пущай так, — говорил он.

— А оладьи с четверга, — предлагала хозяйка.

— А то кухаркам не управиться, — замечала бабушка.

— Ну, с четверга, — соглашался хозяин.

— А лещи каждый день пойдут.

— Само собой, что их жалеть-то...

В понедельник, рано утром, по всему дому распространяется блинный запах. Коты замурлыкали, даже в щелях тараканы зашевелились. Шарик давно уж сидит на кухне, облизывается и поглядывает на кухарок.

— Блинов, старый черт, дожидаешься! — говорит ему дворник.

Шарик ласково бросается к нему на шею.

— Только я посмотрю, как ты опосля лаять будешь, а то опять я тебя на постную пищу.

Лица у кухарок от жара кажутся обтянутыми красным сафьяном.

Стол накрыт. Выходят хозяева; ведут под руки разбитого параличом дедушку, который только три раза в год появляется в обществе, а остальное время комнаты своей не покидает; входит дальняя родственница Дарья Гавриловна, в молодости имевшая роман с секретарем магистрата, который пропил все ее состояние и «на всю жизнь оставил только одну меланхолию». «Бедная я женщина, — говорит она, — но во мне столько благородства, хотя и купеческого, что я никому не позволю». За ней следует еще родственница Марфа Степановна; постоянное выражение ее лица такое, точно она просит милостыню; шествие замыкают купеческий племянник Кирюша, с отдутловатой физиономией, мужчина лет пятидесяти; наконец, Анна Герасимовна, пожилая, бойкая купеческая вдова, имеющая в захолустье дом с большим старинным садом. Сад этот она весь изрыла и ископала, отыскивая клад, зарытый кем-то в 1812 году.

Свернувши блин в трубку и обмакивая его в сметану — «в радости дождамшись», говорит хозяин.

Лица всех просияли. Дедушка хотел было выразить удовольствие улыбкой, но мускулы лица его не действовали, и он только пошевелил левой рукой.

Марфа Степановна, взявши первый блин, прослезилась и глубоко вздохнула.

Сын Семушка взвизгнул.

Дедушка левой рукой подбрасывал блин и хватал его на лету, наподобие собаки, ловящей муху.

Полное молчание.

Семушка сбился со счета.

— Манька, я забыл, сколько съел.

— Грех, батюшка, считать-то, — заметила ему бабушка, — кушай так, во славу божью.

Глаза начинают суживаться; лица у всех сделались влажными, утомленными. К последней партии блинов с семгой никто не касается.

— Дай бог доброго здоровья, — начал Кирюша, вставая из-за стола.

— А ты бы еще ел.

— Много довольны... не могу!

— Что ты, Кирюша, поделываешь? — обратилась к нему Анна Герасимовна.

Кирюша глупо улыбнулся.

— Ничего!

— Я тебе говорила — женись.

— Жениться... по нынешним временам...

— Ну, торговлю бы открыл...

— Торговать тоже... по нынешним временам...

— Куда ж теперь пойдешь?

— Туда...

— Куда?

— К тетеньке Василисе на Зацепу спать пойду.

— Ты у ней живешь-то?

— Нет.

— А где же?

— В монастыре...

— Что ж ты, душу свою соблюсти хочешь? — вмешался хозяин.

— Звоню. Колокол у нас большой, край только у него треснул... Шелапутиху хоронили, он и треснул...

— Как же, братец ты мой, — продолжал хозяин, — купеческий ты племянник, на линии, можно сказать, почетного гражданина, а каким пустым делом занимаешься, не купеческим...

Кирюша, уныло повесив голову, обтер рукавом скатившуюся слезу.

— Тетенька Василиса из дому выгнала... Ступай, говорит, вон!.. Холодно было... Всю ночь ходил по Яузе... Из Андроньева монахи взяли... «Звони», — говорят... Сапоги дали. Теперь в теплом соборе служат, а холодный который — заперт... Вчера отец казначей на Солянку за рыбой ездил...

— Стало быть, вы там хорошо едите?

— Монахи едят, — поспешно подхватил Кирюша, — мы звоним. Сегодня раннюю звонил...

— Ну, ступай с богом! Не ближний тебе путь на Зацепу-то, — сказала хозяйка.

Кирюша, положивши в рот указательный палец, робко обвел всех глазами и, тихо пробираясь по стенке, вышел из комнаты. Кухарка дала ему на дорогу пару лещей.

— Прими Христа ради, — сказала она.

Кирюша поклонился ей в ноги, промолвив:

— Благодарим за неоставление.

Первый блин, как говорится, комом. Целый день хо-

дили все вялые. Коты не сходили с хозяйской постели. Ночь проведена беспокойно: хозяйка во сне вздрагивала, хозяин метался всю ночь, Семушка бился головой об стену и неистово кричал; Шарик, к величайшему огорчению дворника, всю ночь не лаял.

«Но уж только с завтрашнего числа я тебя лаять заставлю! Ты у меня на разные голоса лаять будешь,— думал дворник, перевертываясь с боку на бок,— теперь дело масленичное, двор у нас большой, улица глухая... Уж сам я за тебя лаять не буду».

В следующие затем дни желудки попривыкли и стали ладить.

С пирогами, с оладьями,
С блинами, с орехами.

Дворника все беспокоили лещи, которых куплено было очень много.

— Как возможно такую силу лещей съесть,— говорил он кухарке,— никто не одолеет.

Порешили, что, должно быть, в прощеный день раздадут нищим.

— А вот у Гужонкина мастер агличанин,— замечал дворник,— весь пост будет скоромное есть. «По нашей, говорит, вере все возможно». Намедни ребята его спрашивают: «Ужли, говорят, Личада Фомич, и на страшной у вас говядину едят?» — «С великим, говорит, удовольствием». Ведь они в петуха веруют.

— В петуха?! — с удивлением воскликнула кухарка.

— В петуха, верно тебе говорю,— окончил дворник.

В чистый понедельник жирный блинный запах сменился чем-то кисло-удушливым, отвратительно действующим на обоняние. Резкий переход к постной пище сильно подействовал на бабушку. Она захворала. Прибегли к домашним средствам — не подействовало. Послали за Ефимом Филипповым, тот сразу чикнул старуху заграничным инструментом и выпустил ей фунт крови. Болезнь обострилась. Решили пригласить доктора.

И вот вечером к воротам дома подъехала в парных санях необыкновенно толстая фигура, в медвежьей шубе, в четырехугольном картузе уланского покроя, с кисточкой. Это был штаб-лекарь Иван Алексеевич Воскресенский. Вера в него в захолустье была необычайная по

двум причинам: во-первых, он имел право носить шпагу, а во-вторых, он одному умершему купцу всыпал в рот порошок, тот встал, подписал духовную и опять умер.

— Ну, что тут у вас делается? — начал он, входя в переднюю.

Хозяин бросился помогать ему снимать шубу.

— Ни, ни, ни, — остановил его доктор, — всегда сам — и надеваю, и снимаю всегда сам. Сам себе хозяин, сам себе и слуга. Старушка у вас захворала. Вылечим. Телесного вы врача пригласили — значит, за душевным посылать еще рано. Посмотрим, — окончил он, вынимая из уха вату.

— Кровь мы ей отворили, чтобы дрянь-то очистить, — робко сказал хозяин.

— Хорошо. Крови жалеть не надо, материал недорогой. Максим Мудров говорит — крови не жалей.

Доктора ввели в комнату, где лежала бабушка.

— Вот она где, божья-то старушка, — начал он ласково.

— Кровь, батюшка, отворяли, — едва внятным голосом произнесла старушка.

— Что ж, тебе, матушка, жалко ее, что ли...

— Да вот пособороваться хочу.

— Рано. Я скажу, когда нужно. Вот мы узнаем, в чем дело, и выпишем из латинской кухни порошков целительных.

Узнавши, в чем дело, доктор вышел из комнаты. В зале его ожидала толпа пациентов. Благо приехал, за одно уж всех лечить-то. Первой подошла Дарья Гавриловна.

— У меня, — начала она, — господин доктор, по ночам под сердце подкатывает. Словно бы этакое забвение чувств и вдруг этак... даже сама не понимаю... Вдруг этак, знаете... даже удивительно! И так, знаете, вздрогнешь...

Доктор, многодумно и терпеливо выслушав, назначил лавровишневые капли.

Подвели дедушку. Он потрепал доктора по плечу левой рукой и промычал что-то непонятное.

— Как тебя, Савелий Захарыч, ярманки-то уходили, — отнесся к нему ласково доктор.

Дедушка хотел улыбнуться, но не вышло.

— Он, батюшка, Иван Алексеевич, все слышит, все понимает, только господь у него слова все отнял, — вмешалась хозяйка, — и отчего это с ним?

— Пил, матушка, много... ну, да и...

— Насчет нашей сестры большой был проказник, — ввернула Анна Герасимовна.

— Бывало, говорит мне: «Ежели, Антоша, разлить теперь по бутылкам все, что я на своем веку выпил, — погребок открыть можно и торговать три года».

Дедушка покачал головой в знак согласия.

Приказано в еде не отказывать.

— Самому здоровенному плотнику не съесть столько, сколько наш дедушка обработает, — отозвалась кухарка, предъявляя обрезанный до кости палец.

Прописана примочка.

Силой притащили Семушку, у которого голова была развита непропорционально туловищу. Доктор побарабанил по ней пальцами, оттуда раздались звуки, как из спелого арбуза. Семушка заплакал.

Лечения никакого не назначено.

Хозяин спросил, на чем полезнее водку настаивать: на цап-цапарели или на милифоли?

И то и другое одобрено.

Прописавши рецепты и давши просто советы, доктор вышел и сел в сани. В воротах остановил его дворник: у него чесалось сердце и на левом плече вскочил веред. Приказано выпариться в бане, а на веред положить сапожного вару.

Через неделю весь дом был здоров.

Ни внутренней, ни внешней политикой захолустье не занималось и под словом «политика» разумело учтивое обращение. «Политичный человек», «политикан», «сейчас видно, что политик». Жили все изо дня в день, день да ночь — сутки прочь, и не чаяли, что на Москву беда идет.

Дни после сильных дождей стояли жаркие. Из Яузы, Самотеки и других московских источников смердело. По переулкам захолустья ходить было невозможно — грязь невылазная.

Душно.

Воскресный день. Еще до благовеста церковного на Серединке, у трактира «Северный океан», стояли лоскутниковские певчие — сборная братия. Один бас безгра-

мотный ходит с хором для октавы. Тенора одеты франтами, альты и дисканты гладко выстрижены. Басы поправлялись в трактире.

— Без приготовки не выдержишь, — говорит один бас, закусывая мятным пряником.

— Поворкуем, ничего, — ободрял его другой. — Я вчера у Спаса в Наливках апостол читал за ранней да вечером на свадьбе, а ничего.

Ударили в колокол. Улица начинает оживляться. Разряженные обыватели идут к обедне.

Вот богатейший купец Рожнов идет с своей семьей: три дочери и два сына. От дочерей пахнет гвоздичной помадой. Сыновья глупые, белокурые. Пробовали их отдавать «в ученье», но оказалось невозможным. Старший стал пугать мать членовредительством, а у младшего оказались припадки родимчика. По объяснению бабушки, это произошло оттого, что его в младенчестве опоили маком.

Плетется весьма почтенный, с добрыми черными глазами, одетый в рубище, проторговавшийся купец Дягилев, несколько лет томившийся в «яме». Он почтительно поклонился купцу Рожнову, тот отвернулся от его поклона: «за низкость себе поставил кланяться горькому человеку, внимания нестоющему».

Старик проводил его своими добрыми глазами и с горькой улыбкой, покачав головой, промолвил:

— Не воздымайся! Сам, может, хуже будешь.

Озорник фабричный, в новом картузе, поддакнул своему хозяину: проходя мимо бедного человека, он отвесил ему низкий поклон, промолвил:

— Миллионщику!

— Ах ты, пустой человек! Таких, как ты-то, я, может, три тысячи кормил.

— Первостатейному! — окончил фабричный, завернув за угол.

Распахнулись ворота; жирный жеребец вывез жирную купчиху Романиху. Первый человек она в захолустье по капиталу и по общественному положению — кума частного пристава.

Из цирюльни Ефима Филиппова несет паленым: приказчики завиваются.

— Продай, Петрович, соловья, — обращается к Дягилеву чиновник.

— Никак невозможно-с!

— Я бы деньги хорошие дал.

— Нельзя-с этого. Это такой соловей, что, кажется, умереть мне легче, чем его лишиться. Вчера он, батюшка, как пошел это вечером орудовать, думаю — не в царстве ли я небесном. Вот какой соловей! А перепелов не видали?

— Нет!

— Тоже, я вам доложу, перепела! Вчера один какой-то: «Продай перепела». — «Тут, говорю, два: вот перепел, и **вот** перепел». — «Вот этого», говорит. «Этому, говорю, цены нет». — «Почему?» — «Потому, говорю, у этого раскат... и у **этого** раскат».

Старик воодушевился и начал подражать перепелу.

— Вот вы, говорю, и знайте, какой это есть перепел. Птицу, батюшка, — ее любить надо, надо понимать ее. Скворец у меня говорил все одно, как человек, и любил меня, как родного отца... Будил меня утром. Бывало, сядет на подушку: «Вставай, Петрович, вставай, Петрович!»

Старик все более и более воодушевлялся, черные глаза его разгорелись.

— Дочь у меня в родах мучилась, письмо написала: тятенька, помоги. Всю ночь я, батюшка, Василий Егорыч, проплакал. Утром встал, взял его, голубчика, закрыл клетку платком, да и понес в Охотный ряд. Несу, а у самого слезы так в три ручья и текут, а он оттуда, из клетки-то: «Куда ты меня несешь, куда ты меня несешь?» — да таково жалобно...

Старик был убежден, что все это так было.

— Сел я на тумбочку, да и реву, как малый ребенок. Идет какой-то барин. «Об чем ты, старичок, плачешь?» — «Купите, говорю, сударь, скворца. Всю жизнь бы с ним не расстался, да беда пришла». — «Что, говорит, стоит?» — «Что дадите, говорю, дочь помирает». Дал две синеньких. «Неси, говорит, его с богом домой». Вот, батюшка...

Раздался трезвон. Собеседники скорыми шагами направились к церкви.

Обедня кончена. Все тем же порядком возвращаются домой. Улица опустела.

Обед и сон. Но какой сон! Сон с храпом, со свистом, со скрежетом зубовным. Все спит! Спят хозяева, спят

дети, спят коты, спят куры. На улице жарко, тихо и мертво, ни малейшего признака жизни, даже птицы попрятались, даже в саду ветви дерев не колышутся.

Беда идет...

II

После вечерен по Большой Мещанской улице по направлению к Сухаревой башне бежал, едва переводя дух, парень, бессмысленно ища чего-то глазами.

— Где тут, сударь, аптека? — торопливо спросил он, наткнувшись на какого-то прохожего.

— А ты осторожней! Выпучил бельма, да и летишь сломя голову.

— Нам аптеку требовается, хозяин у нас нездоров, — отвечал парень, устремляясь вперед.

— Служба, где тут аптека? — обратился он к стоящему на часах будочнику.

Будочник зевнул во весь рот так сильно, что левая рука его непроизвольно приподняла алебарду на аршин от земли, а стоявшая рядом извозчичья лошадь вздрогнула.

— Проходи, проходи, — промычал он.

— Давай пятачок, найдем, — предложил извозчик.

Парень, махнув рукой, помчался дальше.

— Пожалуйте кровочистительных капель на двадцать копеек, — сказал он, переступив порог аптеки.

Аптекарь флегматически, не спеша взял склянку, долго тер ее полотенцем, налил туда какой-то жидкости, заткнул пробочкой, завернул бумажкой, запечатал сургучиком и отпустил.

Парень побежал обратно. У ворот дома купца Рожнова он встретился с Ефимом Филипповым.

— Шабаш, брат, не поспел.

— А что?

— Хозяин твой порешился.

Парень остолбенел. Дворник стоял бледный как смерть. Подошел священник с дьяконом и дьячками. Все приняли благословение.

— Что плохо лечил, Филиппыч? — начал священник, обращаясь к Ефиму Филиппову.

— Что делать, батюшка, — отвечал цирюльник, — в четырех местах кидал: инструмент не действует.

В одном месте, кажется, жилу пополам рассек. Это уж не от нас. Да, не от нас. Всем нам один путь, — окончил он, входя в калитку.

Утро. Не поведу читателя туда, где теперь раздается надгробное рыдание, где слышится раздирающий душу стон, где из глубины растроганного сердца льются горячие слезы; будем стоять у ворот дома и смотреть, что происходит на улице.

Вот в калитку юркнули два худеньких человечка в сибирочках, а за ними еще двое... еще... Это гробовщики. Вышли все назад, столпились в кучу, постояли, поговорили, опять ушли в калитку... опять вышли. Трое отделились, взяли отступного и ушли.

В нескольких шагах от ворот на тумбах расположились какие-то неопределенные личности. Один во фризовой шинели, другой в длинном истрепанном халате, третий в истасканном донельзя вицмундире, четвертый... Это нищие.

Фризовая шинель обращается к дворнику:

— А что, почтенный, подавать нынче будут?

— Что вы за народ такой? — отвечал сердито дворник. — Только что панафиду начали, а уж вам подавать.

— Самое бы теперь настоящее время подавать.

— Есть которые благочестивые, — поддакнула нищая женщина, — сейчас подают.

— Может, и завтра-то подавать не будут. Вы не мешайтесь тут, отходите... Не до вас теперь.

— Слушай команду, проходи, — скомандовал вицмундир.

— Ты бы сам-то проходил, — заметила фризовая шинель, — стыдился бы! Пуговицы светлые имеешь, а побираешься. Мы ночевать здесь будем, а не уйдем.

Около пяти часов вечера вся улица запружена была нищей братией.

— Эко рвани-то, рвани-то что понаперло, пушкой не прошибешь, — замечает дворник.

— Кормимся, почтенный, кормимся, — отвечает фризовая шинель. — Ты думаешь, лестно ходить по Москве-то...

— Без них и кабаки бы не стояли, — ввернул сидевший на козлах кучер.

— Тебе, жирному черту, хорошо там сидеть-то!..

— Мне чудесно! Лучше требовать нельзя.

— Ну, так и сиди, тебя не трогают.

— Еще бы ты тронул! Я те так трону... Тпру! Балуй! — отнесся он к беспокоившейся лошади.

Вицмундир был уже пьян и ссорился со своею братиею. Он рассказывал, как фризовая шинель по гостиному двору на мертвое тело сбирал и для этого носил с собой деревянный ящик, в котором лежала селедка. Селедка и изображала мертвое тело.

— А помнишь, как ты в Ножовой линии у разносчика блин стащил...

— Помню! А ты помнишь ли, как тебя на цепи, как собаку, по всей Москве провели.

— А ты вот что помнишь ли, как тебя за фальшивую присягу в остроге гноили: животворящий ты крест целовал...

— Полноте вам, — заметил благочестивый старичок нищий. — Божьим именем пришли просить... Стыда-то в вас нет.

От сильного напора нищих потребовалась вооруженная сила, которая и не замедлила явиться в лице двух будочников. Сначала они увещевали разойтись, потом пригрозили холодным оружием — тесаками, или, по московскому выражению, селедками — не подействовало; тогда воины врезались в толпу и начали крушить направо и налево и, не кончивши кампании, отошли.

— Хошь бей, хошь нет — ничего с нами не сделаешь. Такие купцы не каждый день помирают, — заметил один из нищих, — теперь не токмо вы — сам частный ничего не сделает. Вишь народ как разъярился — он все три дня здесь стоять будет...

Но вот открылось окно, высунулась оттуда в черном платке голова старухи.

— Подходите которые, — обратилась она к толпе.

Нищие хлынули к окну. Давка, визг... крики.

— Поминайте в ваших молитвах раба Василия, — сказала она, залившись слезами.

— Дарья Карнеевна, вам неспособно, позвольте, я буду, — предупредил ее молодой приказчик, — подходите помаленьку, не все чтобы вдруг, всем будет. За упокой души Василия, — проговорил он, опуская в руку нищего медный пятак.

Долго шла раздача, толпа мало-помалу редела.

— Ты сколько раз подходил?

— Раза четыре. В последний раз не дал, приметил.

Соседний кабак торговал на славу. Целовальник с чувством принимал нищих-гостей.

— Божьи люди, мои голубчики! Кушайте на доброе здоровье. С утра стояли, устали чай, да и бока-то вам понамяли, — приговаривал он, отмеривая крючком пенник.

Вицмундир беседовал с какими-то кабацкими завсегдатаями.

— Неужели тебе не стыдно побираться?

— Стыдно! Очень стыдно! Мне вот как стыдно: разрежь ты мою грудь да и посмотри, что у меня там теперь. Горе!

— Ведь тебя из консистории-то выгнали.

— Выгнали! По третьему пункту! А ты знаешь, что это значит? Это значит: вот я теперь с тобой говорю, а меня нет на свете.

— Где ж ты?

— Меня нет! Нет меня! Вот что значит третий пункт.

— За что же это тебя?

— За добрые дела! Каюсь!

— Так и быть, поднесем стаканчик, сказывай. Дай секлетарю стаканчик.

— Коллежский секретарь!

— Бог тебя знает, какой ты там есть, знаем, что секлетарь прокутимший.

Мальчик поднес стакан водки и два сухарика. Вицмундир, взяв стакан, стал в позу и начал:

— Благоденственное и мирное житие...

— Пей так, не безобразничай.

Выпив водки, он схватился за голову и забормотал:

— Стыдно, стыдно, стыдно! не осудите меня! Столоначальник говорит: «Приходи, Куняев, по бедности твоей, в суд подшивать журналы». Могу я это?

— Дело не хитрое!

— А я что, портной? Портной я?

Я не портной журналы шить,
Не из таких я негодяев!
Никак портным не может быть
Коллежский секретарь Куняев, —

пропел вицмундир торжественно.

— Так рассказывай, за что тебя выгнали-то?

— А вот видишь ты: нужно было купцу Кочеврягину... знаешь Ивана Семенова?

— Слыхали.

— Нужно было ему родственников ограбить.

— Дело хорошее!

— Ну, на что уж лучше! Вот вы и слушайте. А по ходу-то дела надо было из консистории метрику украсть. Лишение всех прав, конная, Сибирь!.. Вот он к Бабушкину — тысячу рублей. К Захарычу — две тысячи. К тому, к другому — все на одном стоят. Ко мне. Перекрестился я, да и думаю: возьмусь за это дело. Сойдет с рук — в монастырь уйду; не сойдет — туда мне, собаке, и дорога. «Извольте, говорю, за триста рублей оборудую». — «Ну, говорит, орудуй, от меня забыт не будешь». И стал я орудовать. Первое дело — архивариус. Он в консисторию, и я за ним; он из консистории, и я за ним; как свечка, я перед ним теплился. Полюбился я ему за это, позвал меня к себе, на Якиманке он жил. И сделался я у него первым человеком. Детей его стал грамоте учить, а старшенького на скрипке.

— А ты и на скрипке играешь?

— Я?! Я первый скрипач по Москве был. Только вот теперь в руках трясение, смычка держать не могу. Вот раз он мне и говорит: «Тебя, Куняев, я выпросил у секретаря к себе в архив на подмогу». Как вошел я туда в первый-то раз, так у меня сердце-то словно каленым железом... Думаю, ведь я разбойник!.. Прошелся по алфавиту — есть! Что ж вы думаете, други сердечные, я сделал? Украл? Зачем воровать — за воровство бьют. А я вот перед вами, как перед богом...

— Выпей еще стаканчик. Поднеси.

— Выпью! Ничтожный я человек, оплеванный... Одно мне осталось...:

Давайте веселиться,
Давайте пить вино!
Не грех вина напиться —
Оно на то дано.

— Тебе бы театры разыгрывать!..

Взяв стакан, он с чувством произнес:

— Посторонись, душа, оболью!

— Так что ж ты сделал-то?

— Не украл! Вот запекись моя гортань кровью, коли я украл. Я взял да в эту папку, где значилась метрика,

положил две сальных свечки. Какова штука! Умственная, а?

— Зачем же это ты?

— Постой! Ровно через год из сиротского суда справка об этой метрике. Цап! а в папке-то дыра одна! Крысы за год-то все скушали. Налетели! Архивариус-то как сидел, так и остался. Меня, раба божьего, в Тверскую часть... в острог, в уголовную!.. Дело-то до правительствующего сената восходило, а правительст...

Речь рассказчика мгновенно прервалась, рот искривился, глаза помутились: точно пронизанный пулей, отшатнувшись в сторону, он грохнулся на пол. Собеседники вскочили и бросились вон. Целовальник загородил им дорогу.

— Нет, у нас так делается: вместе пили, вместе и отвечать будете.

— Мы ни в чем непричинны.

— Нет, позвольте! У нас такие разы бывали. Еще вы то возьмите в рассуждение, его теперича потрошить будут: как же его можно потрошить без свидетелев? Нет, уж вы сделайте милость! Вы думаете, мне-то приятность какая? Приятности мне никакой нет, а сущее разорение! Никитка, беги на улицу, кричи «караул». Водка, она тоже никого не помилует, — окончил он, закрывая труп грязной рогожей.

Целые три дня около дома купца Рожнова толпились нищие, и по захолустью стали ходить беспокойные слухи, что скоропостижная смерть купца Рожнова не есть первая, что точно так же окончил дни свои мещанин Заклюев, шорник из тупого переулка, лавочник, а в Хамовниках народ так и валит. Слухам этим не придавали особенной веры; мало ли что народ болтает.

Не успели нищие очувствоваться после поминок Рожнова, как вновь были приглашены к себе купчихою Романихою, которая, несмотря на усилия известнейших в то время врачей Лоедера и Гааза, окончила жизнь в несколько часов. Слухи о чем-то неладном увеличивались. Редкий день, чтобы по Techнке не проводили от сорока до пятидесяти покойников. Вдруг дотоле неслыханное слово «холера» разнеслось по захолустью. Народ оцепенел!

Гнев божий!

Полиция приколачивает на заборах печатные объявления о предосторожности. Их никто не читает.

Ефим Филиппов обессилел от практики, он отворяет кровь на улице. Церковные колокола не умолкают. Погребальные дороги и просто фуры тянутся к Пятницкому кладбищу с утра до ночи. Гнев божий! Нет помощи, нет спасения! Захолустье потеряло больше половины своих обывателей. Осталось одно утешение — молитва.

И вот посреди улицы воздвигнули помост и пригласили духовенство соседних церквей с крестным ходом. Лишь только певчие возгласили «Царю небесный», народ, измученный страхом и ожиданием смерти, пал на колени и зарыдал, как один человек. Священнослужители не выдержали своего высокого положения — тоже зарыдали. Протодьякон Успенского собора читал апостол и лишь дошел до слов «да смертию упразднит имущего державу смерти», с ближайшей колокольни раздался троекратно удар колокола — весть о смерти настоятеля, — голос его прервался и он едва мог кончить чтение.

Во время молебствия по захолустью проскакал взвод казаков, с полицеймейстером во главе.

— Бунт! — разнеслось по захолустью.

— Мастеровщина взбунтовалась, — закричал лавочник.

В трактир «Адрианополь» собралась мастеровая чернь — шорники, сапожники, позументщики и т. п. Кто-то из компании сказал, что народ морят. Пошел на эту тему разговор. Пьяный портняга сказал, что всему делу причина Ефим Филиппов, что он все кровь отворяет, что предлагал и ему, да он не согласился.

— Разве возможно христианскую кровь выпущать!

— Мы ему докажем!

— Ежели он, значит, кровь отворял и, значит... по какому праву? — подхватил тщедушный, чахоточный сапожник, — надо, значит, к нему и сейчас, значит...

— Своим судом!

— Покажи струмент! По какому праву?

Трактирщик начал было успокаивать, но избитый бросился в квартал и донес о случившемся. Мастеровщина бросилась в кабак, в котором кончил дни свои коллежский секретарь Куняев. Целовальник ничего не возражал.

— Лопайте, черти! Все равно вам издыхать-то, — сказал он и вышел на улицу.

Обезумев от пенника, пьяная голь ринулась к цирюльне Ефима Филиппова. У цирюльни было тихо и не пахло, как бывало, паленым. Стеклянная дверь разлетелась вдребезги, и пьяным глазам представилось тяжелое зрелище.

Ефим Филиппов лежал на столе бездыханный, и Петрович нараспев произносил стих из псалтыря: «Яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает к тому места своего».

Толпа отхлынула и была окружена казаками.

— Ах, как это народ-от мрет! Господи ты боже наш! Царица ты наша небесная! — говорил живший в захолустье на большой улице кривой купец, мимо дома которого провозили жертву смерти.

— И что это теперича будет? Вся Москва, почитай, вымерла. Испытует нас господь или наказывает — его святая воля. В городе-то пусто; мимо Минина вчера проехал — хоть бы те один человек был... жутко; только заблудящий какой-то, бога-то знать в ем нет, стал середь площади да песней так и заливается... «Что, говорю, просторно тебе?» — «Просторно, говорит, господин купец! Никто не препятствует». Индо руками я всплеснул!.. Этакое божеское наказание, а он...

— Что, значит, непутевый-то человек! — заметила старуха жена...

— Диву я дался! Молодой парень — дворовый али так какой... «На смирение-то, говорю, взять тебя некому». — «Живых, говорит, теперича не трогают, мертвых подбирать впору».

Старики в глубоком молчании смотрели в окно.

— Сирот-то, сирот-то теперича... Господи! — сказала старуха.

— Сироты теперича много! — отвечал старик. — Столько теперича этой сироты... и куда пойдет она, кто ее вспоит-вскормит, оденет-обует... Давеча я посмотрел... ребенок один: сколь мать свою любит, так под гроб и бросается... Удивительно мне это! Махонький, от земли не видать, а сколь у него сердце это к родительнице. Индо слеза меня прошибла! Еду, а у самого так слеза и бьет, уж очень чувствительно мне это... Махонький, а любовь свою..., подобно как...

Старуха прослезилась.

— Сама была сирота, без отца, без матери, без роду, без племени...

— И должна, значит, чувствовать сиротское дело. Сам куска не ешь — сироте отдай, потому сирота, она ни в чем не повинная... Должен ты ее... Вот ты теперича плачешь, значит — это бог тебе дал, чтобы народ жалеть. А ежели мы так рассудим: двое нас с тобою; дом у нас большой, барский, заблудиться в ем можно: ежели в этот дом наберем мы с тобой ребяток оставших, сироту эту неимущую, пожалуй, и богу угодим. Своих-то нет — чужих беречи будем. И будет эта сирота в саду у нас гулять да богу за нас молиться. Так, что ли?

Старуха перекрестилась.

— Дай тебе бог!

Старик исполнил свое предположение. По окончании холеры он пожертвовал свой дом под училище, внес большой капитал на его содержание. Святитель Филарет благословил иконою доброго старца, а протодьякон провозгласил:

— Потомственному почетному гражданину, фридрихсгамскому первостатейному купцу Феодору Феодоровичу Набилкову многая лета. Об этой высокой личности будет мое душевное слово.

«Новое время», 5 и 12 октября 1880 г.

ИЗ МОСКОВСКОГО ЗАХОЛУСТЬЯ

I

ИВЕРСКИЕ ЮРИСТЫ

> Не бог сотвори комиссара, но бес начерта его на песце и вложи в него душу злонравную, исполненну всякия скверны, и вдаде ему в руце крючец, во еже прицеплятися и обирати всякую душу христианскую.

Так начинается весьма редкая раскольничья рукопись, озаглавленная так: «О некоем комиссаре, како стяжал, и о купце». В ней рассказывается, как помощник квартального надзирателя (в тридцатых-сороковых годах они назывались комиссарами) притеснял купца и какие купец принимал меры против своего гонителя. Комиссар в то время был для захолустья персона важная, важнее квартального надзирателя, район действий которого была канцелярия, а комиссар представлял из себя наружную полицию, и обыватели находились в полнейшей от него зависимости. Протоколов в то время не было, а все решалось на словах, по душе.

Сгородил купец у себя на дворе, по собственному рисунку, какую-нибудь невообразимую нескладную постройку: теперь — протокол... отступление от строительного устава...

Или: начнет тот же купец выкачивать из своего погреба на улицу смрадную миазматическую жидкость и

распустит зловоние по всему захолустью: теперь — протокол... несоблюдение санитарного устава... обязательное постановление и т. д.

А прежде:

— Что это, Иван Семеныч, ты... тово... — говорит комиссар, — сам увидит — не хорошо!.. И мне за тебя достанется.

Четыре стертых или так называвшихся «слепых» полтинника в руку — и смотрительный устав обойден.

Или:

— Что это, Иван Семеныч, ты весь квартал заразил?..

— Мне и самому, брат, тошно, — отвечает купец, — да что же делать-то! Три года не выкачивали. Капуста, Ермил Николаевич, действует!.. Заходи ужо, милый человек... Портфеинцу по рюмочке выпьем...

Санитарная часть обойдена.

Комиссар был на ногах чуть ли не все двадцать четыре часа в сутки...

То он подойдет к будке и свистнет по зубам задремавшего старика будочника. Необыкновенный тип представляли из себя будочники. Они выбирались из самых неспособных и бессильных солдат. Мастеровой и фабричный народ называл их «кислой шерстью». То отколотит извозчика, приговаривая: «Я давно до тебя, шельма, добираюсь!»

— Ваше благородие, там, на Яузе, мертвое тело к нашему берегу подплыло. Пожалуйте! Хозяин к вам послал... опасается. Мы было хотели его пониже, к Устинскому мосту спустить, чтобы из нашего кварталу... А хозяин говорит: беги к Ермилу Николаевичу. Надо полагать, давно утопился, по той причине — оченно уж распух...

Комиссар на месте. Кричит, ругается, дерется, командует.

— Давай багор! Тащи!..

— Я не полезу!

— Что ж, сам я, что ли, должен лезть... Кто я?

— Мы знаем, что ты ваше благородие, а только я ни в каком случае не полезу. В ем теперича пудов двадцать есть, его и вытащить невозможно.

— Молчать! — и т. д.

— Ермил Николаевич, хозяин приказал, как собственно завтрашнего числа у нас поминки по Матрене

Герасимовне, так вот именно приказали доложить... Архимандрит хоронить будет...

— Стало быть, обед рыбный будет...

— И рыбный, и такой — обыкновенный.

— Буду.

И сидит комиссар на почетном месте с духовенством, отдавая предпочтение свежей икре перед паюсной.

— У кого какой вкус! По мне свежая икра несравненно лучше паюсной, — говорит он, забивая рот блином, густо наслоенным свежей икрой.

— И я того же мнения, — соглашается с ним отец протоиерей.

— Ермил Николаевич, не оставьте нас своим посещением: дочку просватали. Завтра сговор.

— Всенепременно!

И сидит комиссар на купеческом сговоре в отдельной комнате и дуется с купцами в трынку, принимая каждые четверть часа по стакану лиссабонского.

«Предписываю вашему благородию с получением сего немедленно произвести опись имущества и охранить оное несостоятельного должника, московского третьей гильдии купца и т. д.»

И едет Ермил Николаевич с писарем, понятыми и добросовестными свидетелями творить волю пославшего...

— Шуба соболья! — выкрикивает охранитель.

Писарь записал.

— Что ты, в первый раз, что ли, на описи-то? — говорит тихо Ермил Николаевич.

Писарь вытаращил глаза.

— Пиши: «меховая».

— Ложек серебряных...

Писарь записал.

— Да металлических!.. Черт тебя возьми! Металлических... Я такого дурака еще не видывал!..

Он был в своем квартале мировой судья.

— Иван Семенов, помирись ты с этой анафемой. Ведь тебе же хуже будет, если она дело направит в управу благочиния.

— Обидно, Ермил Николаевич, обидно мириться-то, ведь я по первой гильдии.

— Ну, дай ты ей пятнадцать целковых...

— Ну, так и быть, получи! Только нельзя ли ее хошь дня на три в часть посадить...

— Уж сделаем, что можно.

— Позвольте узнать, в каком положении мое дело? — спрашивает, подходя к столу, средних лет женщина.

— Вы Анна Клюева? — скроивши важную мину, спрашивает комиссар, — вдова сенатского копииста? По происхождению — дочь унтер-офицера карабинерного полка?

— Да-с.

— Тэк-с. А вы давно кляузами изволите заниматься?

— Помилуйте, какие же это кляузы, когда он на паперти меня прибил...

— А свидетели у вас есть? А доктор вас свидетельствовал?

— Помилуйте...

— Вы нас, матушка, помилуйте! И без вас у нас дела много. Вы женщина бедная, возьмите пять рублей и ступайте с богом. А то мы вас сейчас должны будем отправить к частному доктору для освидетельствования нанесенных вам побоев, тот раздевать вас будет... Что хорошего — вы дама.

Просительница начинает всхлипывать.

— А как тот с своей стороны, — продолжает спокойным тоном комиссар, — озлится, да приведет свидетелей, которые под присягой покажут, что его в тот день не только в церкви, а и в Москве не было, так вас за облыжное-то показание...

— Помилуйте, — прерывает просительница.

— Позвольте, дайте мне говорить... — останавливает комиссар. — Вы не бывали на Ваганьковском кладбище?

— Мой муж там схоронен.

— Стало быть, мимо острога проезжали. Неприятно ведь вам будет в остроге сидеть.

— Я правду говорю! Неужели за правду...

— А те святой крест и евангелие будут целовать, что вы неправду говорите! Полноте, возьмите пять рублей. Василий Иванович, возьмите с г-жи Клюевой подписку, что она дело прекращает миром. Вам напишут, а вы подпишите.

— Извольте, я подпишу, только пяти рублей не возьму... Бог с ним!

— Ну, как хотите!

Он был в своем квартале и прокурор, только в редких

случаях, это когда считал себя оскорбленным кем-либо из купцов, обидевших его «праздничными» или иными установленными обычаем денежными взносами. Тут он являлся во всем величии своей власти: вызывал в квартал дворников, находил в колодцах у обывателей утопленных котят, отыскивал непрописанные паспорта; простой пьяный шум на фабрике принимал за буйство с сопротивлением властям, но по свидании с обвиняемым обывателем преследование прекращалось «по недостатку улик».

Он был и судебным следователем.

«Во исполнение приказания вашего высокоблагородия, производил следствие с прикомандированным чиновником (таким-то) об ограблении купца (такого-то) в Водосточном переулке, причем грабители, употребив насилие, скрылись, оставив на месте, по всему вероятию, принадлежащий им лом и огарок стеариновой свечки. То и надо полагать, названные грабители из Москвы бежали, ибо нахождение их в Москве, при опасности быть пойманными, при нашем совместном заключении, невозможно. Причем, по долгу присяги, не могу не отнестись с большою похвалою к полицейскому служителю Гаврилову, трое суток, несмотря на сырость и ветер, сидевшему на реке Яузе, под Полуярославским мостом, выслеживая злодеев».

Он был и защитник.

— Батюшка, ваше благородие, защити ты меня, отец родной, — голосит, валяясь в ногах у комиссара, старуха... — Все пропил...

— Кто пропил? — грозно вскрикивает Ермил Николаевич.

— Сын, батюшка, родной сын... Защити ты меня...

— Это ты? — обращается комиссар к молодому, щеголевато одетому мастеровому.

— Я, — отвечает нахально мастеровой.

— Ты кто такой?

— Цеховой кислощейного цеха.

— То-то у тебя и рожа-то кислая!.. Ты знаешь божью заповедь: «Чти отца твоего и матерь твою»?

Бац!

Цеховой летит в стену.

— Ты знаешь, что твоя мать носила тебя в своей утробе сорок недель?

— Зн...

Бац!

— Ваше благородие...

— Ступай с богом! На первый раз с тебя довольно. Василий Иванович, возьмите с него подписку, что впредь он будет оказывать матери сыновнее почтение.

Дел в то блаженное время, требующих психического анализа, юридических знаний, научной подготовки, не возникало. Все дела были компетенции комиссаров, квартальных надзирателей, в редких случаях частных приставов, а если дело восходило до обер-полицеймейстера и обращались в управу благочиния, то сейчас же переносились обвиняемыми на консультацию к Иверским воротам, в институт иверских юристов, дельцов, изгнанных из московских палат, судов и приказов. В числе этих дельцов были всякие секретари — и губернские, и коллежские, и проворовавшиеся повытчики, бывшие комиссары, и архивариус, потерявший в пьяном виде вверенное ему на хранение какое-то важное дело, и заведомые лжесвидетели, и честные люди, но от пьянства лишившиеся образа и подобия божия.

Собирались они в Охотном ряду, в трактире, прозванном ими «Шумла». Ни дома этого, ни трактира теперь уже не существует. В этом трактире и ведалось ими, и оберегалось всякое московских людей воровство, и поклепы, и волокита. Здесь они писали «со слов просителя» просьбы, отзывы, делали консультации, бегали расписываться «за безграмотностью просителя». И текла их жизнь, полная лишений, полная непробудного пьянства и угрызений совести, у кого она оставалась... С горечью взирали они на своего брата-дельца, подъезжавшего к сенату на своей лошади, приветствуемого всей служившей братией.

— Вот ведь по делу Павла Матвеича надо бы уж давно ему в Сибири быть, а он в коляске... — замечает один из дельцов.

— Suum quique![1] Не завидуй! — успокаивает его губернский секретарь Никодим Кипарисов. — Все сравняемся!

Безумцы станут с мудрецами,
С ханжой столкнется изувер.

---

[1] Каждому свое *(лат.)*.

— Эх, Петя, сразил нас с тобой этот центифарис! (Центифарисом иверские юристы называли водку.) Не пей я — кто бы теперь я был? Может быть, епископом, может быть, профессором, может быть, гражданской палатой ворочал; а чем я кончил? — Магистром, да и то с таким формуляром, что самому в него смотреть стыдно!

— Epistola non erubescit [1], а я как глядя на нее краснею!.. Две диссертации написал на латыни, да какие! Преосвященный пред всей семинарией меня в пример поставил. «Кто, говорит, у вас, отец ректор, писал диссертацию на тему: «Mens agitat molum?» [2] Никодим Кипарисов, сын заштатного дьячка. Велел мне из-за парты выйти и преподал благословение. Диоген в бочке не переносил таких лишений, какие переношу я... У тебя хоть зимняя оболочка есть, а я с ужасом ожидаю пришествия борея: не в чем будет на улицу выйти. А никому я не завидую!.. Сам себе такую дорогу проложил. Верь мне — придет время, «грядет час и ныне есть» — полетим мы все вниз, как с Тарпейской скалы, и «пронесут имя наше яко зло». Готовься к этому и мужайся. Дальше идти нельзя! Другие к нам на смену придут...

— А другие-то лучше, что ли, нас будут? — возразил делец.

— Не знаю! «Темна вода во облацех воздушных». Но нам конец! Не токмо сенат, но и уездный земский суд затворит нам свои двери. Кроме образовательного — нравственный ценз потребуется... Ну!

— Ну?

— Ну и умри!

— «Правда и милость да царствует в судах!» — раздалось с высоты трона.

Оцепенели иверские юристы.

— «Да сбудется реченное», — воскликнул Никодим Кипарисов.

— Однако! — произнес со вздохом квартальный надзиратель.

— Теперь ступай к мировому, а не ко мне, мы больше не годимся, — иронически говорил комиссар просительнице.

---

[1] Написанное не краснеет *(лат.)*.
[2] «Дух гонит невзгоды» *(лат.)*.

— Сам, батюшка, нас рассуди! Зачем я полезу к мировому... Еще кто он такой...

— Молодой... С золотой цепью на шее сидит... Хе, хе, хе... да поверенного возьми. Деньги-то есть, что ли?

— Какие у нас, батюшка, деньги.

— Ну, уж это твое дело... Теперь там на лестнице поверенные стоят. Да ты не бойся: не от иверских — тех уж нет, — теперь все новые, хе, хе, хе.

— Кипарисыч, — говорит молодой купец иверскому юристу, прозябшему до костей у ворот московского трактира, — говорят, вашему брату последний конец пришел.

— Верно, господин коммерсант.

— Что ж, ведь замерзнешь без дела-то.

— По теории вероятностей должен замерзнуть.

— Ты бы к чему-нибудь пристроился. Говорят, еще на Хитровом рынке вашим братом не гнушаются.

— Что ж ты смеешься надо мной? Твой отец не только мной не гнушался, а когда его в яму тащили — в ногах у меня валялся. Выручи! Эх ты! Может быть, ты мне обязан, что капитал у тебя есть. Погоди, вспомнишь и нас! Мы самим богом были устроены для вашего купеческого нрава, а с новыми вам придется побарахтаться. Dixi![1].

— Это насчет чего?

— А насчет того, что ты, немилосердный человек, смеешься над умирающим.

И комиссары московские перемерли, и кипарисычи, и все члены иверской консультации отошли в вечность, но на почве, которую они возделывали и удобряли и на которой в былые времена произрастало «крапивное семя», — прозябло новое растение, не значившееся прежде в юридической ботанике и названное при своем появлении «аблокатом».

Аблокат не имеет ничего общего с людьми, аккредитованными судом и институтом присяжных поверенных. Он торгует без патента. Между ними есть незрелые шантажисты, деяния которых не предусмотрены законом, но деяния эти заставили бы содрогнуться иверского юриста.

Об этих общественных деятелях впереди мое слово,

---

[1] Я сказал (*лат.*).

II

ШИРОКИЕ НАТУРЫ

Немилосердный коммерсант, смеявшийся над умирающим иверским юристом Никодимом Кипарисовым, принадлежал к широким купеческим натурам.

То время было время широких натур, почти уже не существующего теперь типа загульных людей. Широкая натура появлялась тогда и в образе промотавшегося интеллигента, прислонившегося к загульному купцу в качестве «дикого барина», с обязанностью откупоривать бутылки, играть на гитаре, «выкидывать колена» и т. п., и в образе купца, разносившего публичные дома, и в образе художника, которому уже перестала повиноваться кисть, и в образе высокодаровитого артиста, пренебрегавшего преклонением пред его талантом народной массы, и даже в образе басистого дьякона. Широкую натуру в Москве уважали, она даже не теряла уважения и тогда, когда, растративши материальные, нравственные и физические силы, насидевшись в «яме» и навалявшись в больнице, становилась с нищими на паперти церковной.

— Ивана Семенова давеча видел: у Василья Блаженного на паперти стоит, — говорит купец соседу своему по лавке.

— Хорош?

— Весь распух, словно стеклянный стал, а духу своего не теряет. Увидел меня, словно бы маленько улыбнулся и сейчас опять в серьез вошел. Мигнул я ему, дескать, приходи... Не знаю, понял ли.

— Значит, гордости своей с себя не снимает...

— С отвагой стоит!.. Уж и туз же был!..

— Богатырь!..

Всякие безобразия и буйства, несмотря на строгие в то время порядки, проходили широким натурам даром. Разве какое-нибудь исключительное проявление дикого нрава вызывало протест со стороны графа Закревского, да и то кончалось большею частью только отеческим внушением.

— Ты опять! — встречает строгий граф широкую натуру, именитого купца.

— Виноват, ваше сиятельство!..

— Пора исправиться. Ты дурной пример подаешь своим детям.

Молчание.

— Ты уж седой!

— По родителю, ваше сиятельство: покойный родитель рано поседел.

— Ступай! Но чтоб больше этого не было!.. Стыдно! Ты знаешь, я не посмотрю, что ты...

Последняя фраза имела большое значение. В Москве тогда убеждены были, что граф Закревский имеет какие-то особенные бланки, по которым он может ссылать в Сибирь, постригать в монастырь и т. п.

Приходит широкая натура после генерал-губернаторского внушения в клуб.

— Ну что? — спрашивают.

— Ничего, разговор был самый обыкновенный... Про матушку спрашивал, — церковь ведь она теперича строит... Ну, а после про это дело... «Мало ли что, говорю, ваше сиятельство, в своем саду делается...» — Ну, ничего, благородно обошелся... Мне вот только дьякона жалко. К Николе на Перерву его на исправление послали.

— А дьякона-то за что?

— Да вот изволите видеть: собрались мы у Назара Ивановича в саду. Ну, шум был... Что за важность! Ну, дьякон нам всем по очереди многолетие сказывал.

— Насколько я знаю, — вмешивается чиновник какой-то палаты, — он произносил многолетие не так, как следует.

— Обыкновенно как: кричал многая лета, а мы пели пьяные.

— Да, все это хорошо! Благоденственное и мирное житие — это бы ничего; а зачем он говорил: «на враги же победы и одоление коммерции советнику...» Это весьма важно! Это ведь знаете...

— Да ведь ваш брат как пойдет привязываться...

— Да это не у нас, это в консистории.

— Ну, я там не знаю где, а только очень жалко! Этакого, можно сказать, удивительного баса и нашего друга... Ну, конечно, мы на Перерву-то к нему ездим, горевать там ему не дадим.

Большая часть притонов, где собирались по вече-

рам широкие натуры, теперь уже не существует; память об них сохраняется только в устном предании. То были: трактир у Каменного моста «Волчья долина», трактир Глазова на окраине Москвы, в Грузинах; кофейная «с правом входа для дворян и купцов» в Сокольниках; трактир в Марьиной роще и разные ренсковые погреба. В этих притонах широкая натура пила «лиссабон», приводивший человека в неистовство; пила шампанское, приготовлявшееся в городе Кашине, одной бутылки которого достаточно было для того, чтобы привести человека в остервенение; била половых, била маркеров, била посуду и зеркала, целовалась с арфистками, становилась на колени перед цыганками и щедро оплачивала зорко следившего за нарушением общественной тишины и спокойствия квартального надзирателя.

Бывали и такие широкие натуры, которые, как говорится, смешивали грех со спасением.

— Заходи завтра, Иван Левонтьич.

— Нет, три дня чертили, отдохнуть надо.

— Да завтра ничего такого не будет... Весь хор прокофьевских певчих только... попоют... а чертить не будем. Признаться сказать, матушка коситься начинает, в Воронеж на богомолье ехать хочет. «На год, говорит, от вас уеду».

И вот собираются вечером широкие натуры, садятся чинно в зале. Налево в углу в золоченых киотах «божье милосердие», направо стол, уставленный закусками и разной цветной и бесцветной жидкостью акцизно-откупного комиссионерства. Выходит «сама», внушительной полноты женщина, с заплывшими глазами и тройным подбородком, а за ней «матушка», худая, высокая старуха в темном платье и черном платке, говорит на «о».

— Фекла Семеновна, матушка... — вскакивает Иван Левонтьич.

— И ты, грешник, здесь? — полусерьезно относится к нему старуха — Ну, те молодые ребята, их и палкой можно, а ты уж...

— Матушка, Фекла Семеновна, один раз живем!.. Помрем — все останется... Ведь не в лаптях ходим, голубушка: есть на что....

— Крутятся, крутятся... и лба-то перекрестить некогда. И домой-то вас одна заря вгонит, другая выго-

нит. А ты что про лапти говоришь: я сама в лаптях хаживала. Ты лапти не кори...

— Я не к тому.

— То-то — не к тому! Покойник сертук-ат надел, когда весь свой полный капитал скопировал, да и то, бывало, говорил: неловко, Семеновна; давай опять поддевку надену; поддевка-то, говорит, нас с тобой выкормила. Внучки-то вот тоже мои куцки себе понашили, девки же говорить с ними стыдятся, словно бы, говорят, облупленные сидят и приступиться-то к ним стыдно.

— Матушка, пожалуйте садиться, — прерывает сын, — сейчас весь состав идет... Басы уж готовы — закусили в саду.

И хор или весь состав прокофьевских певчих входил, имея во главе своего хозяина и регента, ямщика Прокофьева. Хор этот гремел по Москве; без него не обходился ни один храмовой праздник, ни одна купеческая свадьба. Он был многочисленный, содержал его страстный любитель пения, купец Прокофьев, по профессии ямщик, содержатель лошадей и тарантасов. Спавший с голоса или отставленный по каким-либо причинам синодальный или чудовский певчий, любители пения чиновники, мещане и всякого звания люди в хору были. Был даже один певчий безграмотный и становился на клиросе, чтобы, как говорили, «пущать октаву». И октава была у него необыкновенная. Басы в Москве, в то время, да и теперь, ценились дорого. Свадьба не в свадьбу, если апостол будет прочитан тенором. Жалко, что пером нельзя передать тех звуков, которые вылетали из груди прокофьевских басов.

— Ты уж, Николай Иваныч, к завтрешнему дню «приготовься», — упрашивал старший приказчик одного купца, на венчании дочери которого долженствовал читать апостол Николай Иваныч, — то возьми во внимание: одна дочь, опять же и родство большое.

— Уж сделаю, — успокаивал его Николай Иваныч, — сегодня у меня у Троицы в Вешняках парамеи за всенощной, ну, да я как-нибудь проворчу полегонечку, а у вас завтра пущу вовсю...

— Голубчик, грохни!

— У Егорья на Всполье на прошлой неделе венчали; худенькая такая невеста, на половине апостола сморщи-

лась, а как хватил я «жену свою сице да любит», так она так на шафера и облокотилась...

— Нет, наша выдержит! Наша даже до пушек охотница... Вот когда в царский день палят... А уж ты действуй вовсю, сколько тебе господь бог голосу послал.

— С вечера-то я сегодня, может, согрешу, а завтра утром «оттяну», оно и будет так точно.

За человека становилось страшно, когда «оттянувший» по утру бас вечером забирался в верхние слои своих голосовых средств. Глаза его наливались кровью, грудь выступала вперед, подымались плечи... Ужасно!

Певчие разместились по порядку: басы назад, тенора на правом крыле, альты на левом, дисканты впереди. Прокофьев, седой, почтенный, строгой наружности старик, вынул камертон, куснул его зубами, подставил к уху... еще раз... погладил по голове гладко выстриженного мальчика, дисканта, нагнулся к его уху и промычал ему нотку, потом обратился к басам: «Соль-сире... си», потом громогласно сказал: «Покаяния отверзи ми двери». Хор шевельнул нотами и запел очень стройно. Изредка слышалось только дребезжание старческого голоса самого регента, но оно тотчас же покрывалось басами.

Кончили...

Басы откашлялись, тенора поправили волосы, альты завертели нотами, регент закусал камертон, опять послышалось «ля-до-ми...», и торжественный концерт Бортнянского «Кто взыдет на гору господню» огласил не только залу, но и улицу и близлежащие переулки. Мальчишки с улицы прислонились к окнам и приплюснули к стеклам свои носы.

Сильно подействовала на душу матушки пропетая песнь. Она обтерла рукой увлажнившиеся слезами глаза и посмотрела на сына. Сын глубоко вздохнул и, покачав головою, сказал: «Да!»

Иван Левонтьич взял у регента камертон, повертел его в руках и отнесся к матушке:

— Фекла Семеновна, вот рогулька, ничего не стоющая, а без нее никак невозможно.

— У всякого дела свой струмент есть, — заметила старуха.

Насладившись пением, хозяин пригласил певчих к столу. Один бас закусил икрой, другой — мятным пря-

ником, говоря, что «это очищает», третий ничем не закусывал, говоря, что после закуски вторую рюмку пить неприятно; октава привела всех в изумление — ничего не пила, несмотря на все увещания.

— Это даже удивительно, — заметил Иван Левонтьич, — такой видный человек и не пьет!

— Прежде был подвержен, — объяснила ему октава, — в больнице раз со второго этажа в окошко выбросился. Доктор больше не приказал.

Тенора выпили «легонького», т. е. портвейну и хересу; мальчикам были бабушкой отпущены моченые яблоки.

После угощения хор разбрелся: кто петь всенощную на храмовом празднике, кто петь на свадьбе. Сам Прокофьев остался с широкими натурами и, вручивши свой камертон своему помощнику, сказал: «Не потеряй! Сорок лет я им орудую! Да скажи там: завтра в Медном ряду молебен... «Царю» и «Воспойте». Чтобы утром пораньше спевались. Я сам буду. К Троице в Сыромятники к «Взбранной воеводе» тоже приду».

Начался разговор о соборных дьяконах, о певчих, о том, что певчим быть трудно, и т. п. Наконец хозяин обратился к гостям с предложением:

— А что, господа, не на воздух ли нам перейти?

Решили, что на воздух лучше, и перешли. Там их ожидало новое удовольствие. Их встречал певец, отлично исполнявший русские песни и романсы.

И пошло!..

Заложу я тройку борзых
Серо-пегих лошадей
И помчусь я в ночь морозну
Прямо к Любушке своей...

Золотое тогда время было для широких натур, но и ему приближался конец.

— «Правда и милость да царствуют в судах!»

И вместо квартального и комиссара, с которыми, совершив всякую «неправду», можно было «сделаться», — является умягчающий поврежденные нравы мировой судья; вместо отеческого внушения генерал-губернатора распахнулись для широких натур двери знаменитых Титов. Дрогнули широкие натуры, когда, на первых порах, одну из них, невзирая на ее общественное положение и почти неприкосновенность, за содеянное ею в

трактире буйство, мировой судья пригласил на новоселье в Титы.

— Уж теперь дело видимое, что прежние порядки отошли, — заключили в захолустье.

— Уж если такой туз не отвертелся, значит, никак невозможно.

— Tempora mutantur [1], — со вздохом произнес Никодим Кипарисов, выходя из камеры мирового судьи.

— Ничего! можно сказать, даже превосходнее, — заметил один обыватель захолустья, — по крайней мере теперича знаешь, что драться невозможно.

— А прежде не знал?

— Знал, да никакой тебе остановки в этом не было, никто не препятствовал...

Очень скоро применилось захолустье к новым порядкам и сознало, что существовать стало легче. Комиссар потерял свой престиж и не имел уже прежнего значения в купеческих домах, ни на похоронах, ни на свадьбе. Уже его не подводил хозяин под руку к закуске, с упрашиванием выкушать на доброе здоровье, а предлагал ему просто, мимоходом: «Ермил Николаевич, ты бы водки выпил. Настойка там есть...» Праздничные его взимания тоже умалялись. Давали обыватели по старой привычке, но уже не в прежних размерах и с видимым неудовольствием. А один купец стал даже над ним подтрунивать:

— Однако у тебя, Ермил Николаевич, пузо-то подсыхать стало... при новых-то порядках... Какой ты прежде пузатый был — на удивление, а теперь ишь как тебя подвело...

— Да, — с горьким вздохом произносил комиссар, — не нужны мы стали!..

— Ну как вы с вашим мировым? — скроивши саркастическую улыбку, спрашивает частный пристав обывателя.

— Во все вникает, — отвечает обыватель.

— Вникает? Ха, ха, ха... Вникает! Это хорошо! Не получая ни от кого ни приказаний, ни предписаний, не рыская целый день то с рапортом на Тверской бульвар, то на пожар, то в наряд на гулянье, — можно вникать.

— Очень вникает! Намедни на фабрике у немца

---

[1] Времена меняются *(лат.)*.

одному шпульнику руку шестерней оторвало, — заплатить велел. Оно ведь, пожалуй, и справедливо. Опять же носовские фабричные на пищу жаловались. Сам приехал и сейчас: «Стыдно, говорит, вам! Вы почетный гражданин, а фабричных ваших хуже собак кормите!». Тот было нрав свой распустил: «По какому праву? Я, говорит, их три тысячи продовольствую...» Но между прочим, говорят, в Титах сидеть будет. Уж трех аблокатов приспособил...

— Так, значит, вы довольны.

— Коли и вперед так дела пойдут — довольны.

— Ну, и слава богу, коли довольны, — окончил иронически частный пристав.

Впрочем, новые порядки неблагоприятно подействовали на стариков и на среднее поколение. Старикам не нравилось, что они уже больше не могли распоряжаться своим необузданным характером во всю меру, что в лице мирового в применении этого характера они встречали препоны; среднему поколению казалось уж стыдно за какие-нибудь пустяки, за трепку, например, полового или маркера в «Волчьей долине», предстать пред лицом нелицеприятного судьи. Молодое поколение, в котором еще не проявилась «тятенькина натура», осталось равнодушно. Да оно не было еще испорчено. Оно еще не вкусило сладости «Волчьей долины», ренсковых погребов и приютов Соболева переулка. Целомудрие его не было растлено общением с арфистками и торбанистами. Пред ним предстояло высшее эстетическое наслаждение. И оно не замедлило явиться. С обнаженными чреслами показалась на сцене «La belle Hélène[1]. Не только молодое и среднее поколение, встрепенулись и старцы.

— Очень хорошо!

Старики созерцали женщин в таком виде, но только в Кунавине и то за большие деньги и при закрытых дверях, а тут на сцене, и всего за полтора рубля.

— Превосходно!

И охватила оперетка все мое любезное отечество «даже до последних земли». Где не было театров, она располагалась в сараях, строила наспех деревянные павильоны, эстрады в садах и т. п. Появились опереточные

[1] «Прекрасная Елена» (*франц.*) — оперетта Ж. Оффенбаха.

антрепренеры из актеров, из проживших помещиков, из артельщиков, был один отставной унтер-офицер, один лакей и т. п.

И на голос ласковый пери
Шел воин, купец и пастух.

Бросились в ее объятия достойные лучшей участи девушки, повыскакивали со школьной скамьи недоучившиеся молодые люди, актеры всех столичных и провинциальных театров были «поверстаны» в опереточные певцы, даже слава и гордость русского театра, П. М. Садовский, уступая не духу времени, а требованию начальства, должен был напялить на себя дурацкий костюм аркадского принца.

Драма посторонилась.

На помощь оперетке вдруг появляется куплет. В один прекрасный вечер он выскочил на сцену в черном фраке и запел:

«Денег в России нет», — смело
Каждый готов произнесть.
Нет у нас денег на дело, —
На безобразие есть!

— Браво! — закричали поврежденные нравы и задумались.

— А ведь правда, — заговорили, — на безобразие у нас сколько угодно!..

Ходят больные, как трупы,
Просят голодные есть;
Нет у нас денег...

— Правда! Чудесно! — закричал Назар Иванович, поглядывая на Ивана Назарыча,— расчесывай, расчесывай хорошенько!

И стал куплет расчесывать поврежденные нравы. И распространился тоже по всему лицу земли русской и засел не только в театре, но и в клубах, и в трактирах, даже на открытом воздухе.

И полетел со своего пьедестала торбанист, услаждавший отцов и дедов захолустных обывателей и в Ирбите, и в Нижнем, и в «Волчьей долине», и во всех веселых притонах государства Российского.

Почтительно отошел в сторону и дал дорогу куплету веселый водевиль, много лет царивший на сцене.

«Сцены и рассказы», 1881 г.



Воспоминания

В начале декабря 1849 года на письменном столе в кабинете покойного учителя моего Н. В. Берга я увидел четыре тетрадки, сложенные в четверку, писанные разными почерками. На обложке первой было крупно написано «Банкрот». Это слово зачеркнуто и под ним тоже крупно: «Свои люди — сочтемся», комедия в 4-х действиях, соч. А. Островского».

«Какое приятное занятие эти танцы! Что может быть восхитительнее!..» — начал читать я.

Этот монолог охватил все мое существо. Я прочитал всю пьесу, не вставая с места.

— Позвольте списать, Николай Васильевич! — обратился я к Бергу.

— Сегодня я должен отдать назад. Островский будет читать ее у М. Г. Попова (университетский товарищ Александра Николаевича). Пьеса вряд ли будет напечатана.

В тот же день, в обед, я пришел к Матвею Григорьевичу Попову и предложил ему свои услуги переписать пьесу с тем, чтобы один экземпляр оставить у себя. Писал я в то время отлично.

— Вероятно, автор нам это позволит, — отвечал Матвей Григорьевич, и тотчас же усадил меня в своем кабинете, дал мне какую-то необыкновенно глянцевитую бумагу, на которой писать так же было трудно, как на стекле, тем более что и перья тогда употреблялись более гусиные!

Около восьми часов вечера в кабинет вошел белокурый, стройный, франтовато одетый (в коричневом со светлыми пуговицами фраке и, по тогдашней моде, в необыкновенно пестрых брюках) молодой человек, лет двадцати пяти. Набил трубку табаку, выпустил два-три

клуба дыму и сбоку, мельком взглянул на мое чистописание.

Это был А. Н. Островский.

— Позвольте вас спросить, — робко обратился я к нему, — я не разберу вот этого слова.

— «Упаточилась», — отвечал он, посмотрев в тетрадку, — слово русское, четко написанное.

Спросил я, впрочем, не потому, что не разобрал этого слова, а просто я горел нетерпением услыхать его голос.

В восемь часов в зале началось чтение. Мы с братом Матвея Григорьевича слушали из кабинета. До конца, до мельчайших подробностей ведомый мне мир, из которого взята пьеса, изумительная передача в чтении характеров действующих лиц произвели на меня неизгладимое до сих пор впечатление.

В течение декабря и января я переписал пьесу три раза и выучил ее наизусть. Она была напечатана в мартовской книге «Москвитянина» 1850 года, но играть ее на сцене не позволили [1]. Автор был взят под надзор полиции.

— Это вам больше чести, — сказал ему граф Закревский, лично объявляя Островскому распоряжение высшего начальства.

Граф Закревский любил произведения Островского. Пьесы «Свои люди — сочтемся» и «Бедность не порок» автор читал у него в доме.

Надзор был снят по всемилостивейшему манифесту при вступлении на престол императора Александра II.

— Позвольте вас поздравить! — с улыбкою сказал Александру Николаевичу квартальный надзиратель, объявляя ему о снятии с него надзора.

— Вас тоже позвольте поздравить с окончанием беспокойств и поблагодарить, что вы меня здраво и невредимо сохранили.

Квартальный расшаркался.

— Кажется, мы вас не беспокоили и доносили об вас как о благороднейшем человеке. Не скрою, однако, что мне один раз была за вас нахлобучка.

Эта встреча с Александром Николаевичем повлияла на всю мою дальнейшую судьбу. Я жил в то время на

---

[1] А. Н. подарил мне оттиски с авторской надписью. — *И. Г.*

окраине Москвы, в захолустье: давал уроки в небогатых купеческих домах.

Я был страстный любитель театра. С одним приятелем мы ходили в Малый театр чуть не каждый день, и сидели всегда в райке. У нас были там свои привилегированные места, которые занимать никто не мог, потому что мы забирались в театр до спуска средней люстры. Соседями нашими были большею частью студенты Московского университета и один почтенный учитель русской словесности Андрей Андреевич, всегда ходивший в синем форменном фраке и белом галстуке. Он постоянно вступал со студентами в спор о пьесе и ее исполнителях.

В зале пусто и темно, лишь в оркестре мелькает несколько огоньков. Посреди мрака и тишины вдруг пиликнула скрипка, ей отвечает другая, третья... Смолкло. Огоньки начинают прибывать. Маленькую трель испустила флейта; дали знать о своем существовании литавры... Свету в оркестре все больше и больше. Дружатся между собою скрипки; крякнул контрабас; нежную, сладенькую нотку дала виолончель... В оркестре начинается полная жизнь: все инструменты пришли в движение. Люстра медленными порывами выходит из отверстия. Раек с шумом и криком наполняется зрителями. Места берутся с бою.

— Нет, вы позвольте! Мы тоже деньги заплатили.

— Я и в креслах могу сидеть.

— Ну, так туда и пожалуйте по вашему чину.

— Что вы, — в баню, что ли, пришли?

— Послушайте, тут дамы.

— Что ж, мы ничего такого не говорим.

— Поберегите ваши слова для Таганки.

— Мы в Тверской-Ямской живем, а не в Таганке.

— Оно и видно.

Успокоились, уселись.

— Какая игра?

— «Лев Гурыч Синичкин».

— Живокини действует?

— Действует.

— Ублажит! Намедни он на кровати с господином Васильевым[1] разыгрывали... умора!

---

[1] Водевиль «Комната с двумя кроватями». — *И. Г.*

— Почтенный, подвиньтесь маленько.
— Не забывайся!
— Ух, как страшно!
— В шубе-то, пожалуй, сопреешь, а девать ее некуда.
— В шубе совсем невозможно — растаешь: жара, как в кузнице.
— Квасок малиновый!
— Что ты тут топчешься? Еще игра не начиналась, а уж он с квасом!
— Ты приходи по третьему поту, а теперь пока рано: к твоему квасу еще расположения нет.
— В купонах сидеть превосходнее, а для дам даже оченно. А здесь так намнут...
— Кто же это позволит?
— Да тут, тетенька, и позволения вашего не будут спрашивать, потому — теснота. Видите, как народ прет.

Подобные перемолвки продолжаются и во время антрактов.

Купцы, в среде которых мне приходилось бывать, были неохотливы до театра.

— Живем мы в тех же направлениях, как наши старики жили. И слава богу, — лучше нам не надо! — говорили они.

На сцене Большого московского театра знаменитая танцовщица Фанни Эльслер. Москва преклонялась пред ее талантом. В книжных и музыкальных магазинах выставлены ее портреты; ресторатор Шевалье готовит котлеты à la Fanny Elsler[1]; в табачных магазинах предлагают папиросы Fanny Elsler; модистки мастерят шляпки Fanny Elsler. Имя Фанни Эльслер у всех на языке. Балетоманы наверху блаженства; поэты бряцают на лирах. Увлечение дошло до того, что один солидный чиновник, занимавший видный служебный пост, в порыве восторга, вскочил на козлы кареты артистки и проследовал с нею до ее отеля. Были очень почтенные люди, считавшие за счастье получить от нее на память башмаки, в которых она танцевала. Поэты приветствовали ее восторженными стихами. Н. В. Берг выходил из себя; все ему в ней нравилось.

---

[1] Во вкусе Фанни Эльслер (*франц.*).

Да, мне милы и за то вы,
Что, любя Москву мою,
Полюбили в ней еще вы
Наши горы Воробьевы,
Что гуляли по Кремлю.

Описывая поездку артистки на Поклонную гору, поэт восклицает:

На горе у нас Поклонной
Положили вы поклон, —
На горе, отколь в дни оны
Подошли к стенам Москвы,
Распустив свои знамена,
Грозных галлов легионы —
Бонапартовские львы.
Там, свои покинув дрожки,
Вы смотрели на Москву,
Там и ваши чудо-ножки,
Пропорхнувши вдоль дорожки,
Смяли нашу мураву;
И слегка напечатленный
Ваших ножек нежный след,
Вашей славой озаренный,
Прирастет к горе Поклонной,
Прирастет на много лет[1].

Андрей Андреевич был в восторге от Фанни и во время антрактов читал нам лекции «о мастерстве и художестве».

— Это — художница! Это — великая художница! Это — предел хореографическому искусству: дальше уже там нет ничего. Все наши танцовщицы перед ней

[1] В записных книжках И. Ф. Горбунова записано продолжение этого стихотворения:

Вспоминали вы не раз,
Как Москва, без битвы, даром,
Опаленная пожаром,
Супостату отдалась.
И душою возмущенной,
Как бы слыша гул и стон
Той эпохи отдаленной,
На горе у нас Поклонной
Положили вы поклон.
Да, мне милы и за то вы,
Что нередко посещали
Наши вы монастыри;
Пенью иноков внимали
И под Синодальным ждали
Появление зари.

Прим. редакции. Сочинений Горбунова, СПБ., т. 3, 1907 г.

только большие мастерицы и больше ничего! Мне жалко смотреть на прыгающих мужчин, на кружащихся девушек и девочек, но я с благоговением смотрю на выдвигающуюся из толпы художницу.

А в захолустье у нас так понимали Фанни Эльслер.

— Боже мой, как она превосходно танцует! — говорил в семействе своего дяди, богатого фабриканта, молодой человек, кончивший курс в Коммерческом училище.

— Затанцуешь, как пить и есть захочешь, — и на дудке заиграешь, — замечает дядя.

— Помилуйте, разве можно про Фанни Эльслер так говорить?

— Что она тебе кума, что ли? Ты бы об душе своей больше подумал...

— Душа тут ни при чем, душа цела будет, если я в театр пойду.

— Ну, не скажите! — возражает тетка.

— Что с дураком разговаривать, — заключает дядя, — в церковь ежели придет — одному святому кивнул, другому моргнул, третий сам догадается, а вот по театрам — наше дело.

Такое воззрение на театр все-таки не удерживало захолустье иногда посетить его. Это обыкновенно бывало на масленице. В эти дни театральным начальством и репертуар приноравливался ко вкусам захолустья: давали обыкновенно «Парашу Сибирячку», «Наполеоновский генерал, или Муж двух жен», «Идиот, или Гейньбергское подземелье», «Принц с хохлом, бельмом и горбом», и другие, подобные этим пьесы, в которых Живокини и Никифоров клали, как говорится, в лоск почтеннейшую публику. Непрерывный смех и взвизгивание раздавались сверху донизу.

— Положим, что смешно, но ведь это балаган! Тут нет ничего эстетического, — говорил наш ментор Андрей Андреевич.

Я восхищался игрой Живокини, и такой приговор о нем мне не нравился.

— Вы возьмите по сравнению: смех, которым вас дарит Садовский, и смех, который вынуждает из вас Живокини.

И он читал нам лекцию о смехе.

С появлением на сцене комедии Островского «Не в свои сани не садись» на московской сцене начинается новая эра. Я был на первом представлении этой комедии. Она была дана в бенефис Косицкой. Взвился занавес, и со сцены послышались новые слова, новый язык, до того неслыханный со сцены; появились живые люди из замкнутого купеческого мира, люди, на которых или плевал с высоты своего невежества петербургский драматург Григорьев «с товарищи», заставляя их говорить не существующим, сочиненным дурацким языком, или изображали их такими приторными патриотами, что тошно было смотреть на них. Например, в одном водевиле из народного быта мужик поет:

Русских знает целый свет,
Не с руки нам чванство...
Правду молвил я иль нет

(Обращаясь к публике):

Пусть решит дворянство.

Посреди глубокой тишины публика прослушала первый акт и восторженно, по нескольку раз, вызывала исполнителей. В коридорах, фойе, в буфете пошли толки о пьесе. Восторгу не было конца. Во втором акте, когда Бородкин поет песню, а Дунюшка останавливает его: «Не пой ты, не терзай мою душу», а тот отвечает ей: «Помни, Дуня, как любил тебя Ваня Бородкин...» — театр зашумел, раздались аплодисменты, в ложах и креслах замелькали белые платки.

Восторженный ментор наш Андрей Андреевич обтер выступавшие на глазах его слезы и произнес:

— Это — не игра. Это — священнодействие! Поздравляю вас, молодые люди, вам много предстоит в жизни художественных наслаждений. Талант у автора изумительный. Он сразу встал плечо о плечо с Гоголем.

Под бурю аплодисментов, без апломба, застенчивый, как девушка, в директорской ложе показался автор и низко поклонился приветствовавшей его публике.

Таланты Васильева (Бородкин) и Косицкой (Дуняша) проявились в этих ролях во всю меру. Совершеннее сыграть было невозможно. Это была сама жизнь.

В это время из московских актеров я был знаком только с одним — Петром Гавриловичем Степановым, игравшим в пьесе «Не в свои сани не садись» роль Маломальского, трактирщика.

Петр Гаврилович был человек крайне оригинальный. Несмотря на свои почтенные лета, он часто проделывал ребяческие шутки. Актер он был, как говорится, на вторые роли, но был необыкновенный и замечательный грим. Он мне рассказывал, что император Николай Павлович приказал вызвать его в Петербург для исполнения только одной роли князя Тугоуховского в «Горе от ума». Эту немую роль своим исполнением и гримировкой он выдвинул на первый план. Императрица Александра Феодоровна при появлении его на сцену признала в нем одного московского сановника (князя Юсупова), и очень смеялась.

Вскоре после первого представления «Не в свои сани» он пригласил меня пить чай в трактир Пегова, где теперь ресторан «Эрмитаж» Оливье. Выпили мы «четыре пары» (так в то время определялась порция чаю), — Петр Гаврилович отдал половому деньги, который через минуту принес их обратно и положил на стол.

— Что значит? — с удивлением спросил Петр Гаврилович.

— Прикащик не берет, — с улыбкой отвечал половой.

— Почему?

— Не могу знать, не берет. Ту причину пригоняют...

— Извините, батюшка, мы с хозяев не берем, — сказал, почтительно кланяясь, подошедший приказчик.

— Разве я хозяин?

— Уж такой-то хозяин, что лучше требовать нельзя! В точности изволили представить. И господин Васильев тоже... «кипяточку!»... на удивление!

— За комплимент благодарю сердечно, а деньги все-таки возьми.

Постом 11 марта 1853 года сгорел Большой московский театр. Пожар начался утром. Шел маленький снежок. Я был на этом пожаре. Смелого и великодушного подвига кровельщика Марина, взобравшегося по водосточной трубе под самую крышу для спасения театрального плотника, — не видал. Зрелище пожара было внушительно. Странно было смотреть, как около этого объятого пламенем гиганта вертелись пожарные со своими

«спринцовками». Брандмайор, брандмейстеры, пожарные неистово кричали осиплыми, звериными голосами:

— Мещанская, качай!

Труба Мещанской части начинает пускать из своего рукава струю, толщиною в указательный палец. Две-три минуты покачает — воды нет.

— Воды! — кричит брандмейстер. — Сидоренко! В гроб заколочу!..

Сидоренко, черный как уголь, вылупив глаза, поворачивает бочку.

— Сретенская!.. Берегись!..

— Публика, осадите назад! Господа, осадите назад! — кричит частный пристав.

Никто не трогается с места, да и некуда было тронуться: все стоят у стены Малого театра. Частный пристав это так скомандовал, для собственного развлечения. Стоял, стоял, да и думает: «Дай крикну». И крикнул... Все лучше...

— Назад, назад! Осадите назад! — вежливо-презрительным тоном покрикивает, принимая на себя роль полицейского, изящно одетый адъютант графа Закревского.

Все стоят молча. Адъютант начинает сердиться.

— Я прикажу сейчас всех водой заливать! — горячится адъютант.

— Вода-то теперича сто целковых ведро! Киятру лучше прикажите заливать, — слышится из толпы.

Хохот.

— Два фантала поблизости, из них не начерпаешься. На Москву-реку за водой-то гоняют. Скоро ли такой огонь ублаготворишь?

— Смотри, смотри! Ух!

Крыша рухнула, подняв кверху мириады искр.

А гигант все горит и горит, выставляя из окон огромные пламенные языки, как бы подразнивая московскую пожарную команду с ее «спринцовками». К восьми часам вечера и начальство, и пожарные, и лошади — все выбились из сил и стояли.

Летом последовала война с Турцией. К осени с берегов Дуная стали приходить известия о небольших стычках наших войск с турецкими. Расположенные в

Москве войска, напутствуемые благословением московского первосвятителя Филарета, выступали на брань. «Московские ведомости» становились с каждым днем интереснее. Патриотический дух Москвы поднимался все выше и выше. Загудели московские колокола при известии о Синопском бое; возликовала Москва от победы Бебутова над сераскиром эрзерумским. В «Московских ведомостях», чуть не в каждом номере, стали появляться патриотические стихотворения дотоле неведомых поэтов — В. Павлова, Веры Головиной, Е. Колюпановой, князя Цертелева, Василия Поедугина; потом пошли известные литераторы М. А. Стахович и Ф. Б. Миллер, наконец, стали по рукам ходить стихотворения Хомякова «Тебя призвал на брань святую», «Глас божий! Сбирайтесь на праведный суд» и знаменитое в то время стихотворение «Вот в воинственном азарте воевода Пальмерстон», положенное на музыку двумя композиторами — Бавери и Дюбюком и иллюстрированное П. И. Боклевским. Б. Н. Алмазов написал стихотворение «Крестоносцы». Ликования продолжались, а с Запада шли к нам грозные тучи, чувствовалось, что ликованию наступает конец. У Иверской, в здании присутственных мест, и на Воздвиженке, в казенной палате, раздавались стоны и рыдания рекрутских жен и матерей.

«Набор!» Боже, что это за страшное слово было в то время! Что за страшные сцены совершались в рекрутских присутствиях!

— Годен в команду! — раздается голос председателя рекрутского присутствия.

— Бог с тобой, Микита Митрич! Задаром ты нашу семью разоряешь, — говорит, всхлипывая, рекрут сдатчику-мироеду, — твоему племяннику идти следовает.

— Ваше сиятельство, — вырываясь из рук солдата, говорит, обращаясь к присутствию, рекрут. — Я могу! Нужды нет, что пьяный! Ежели мне теперича еще поднести — я куда угодно!

— Ежели он деревню спалил — ему в Сибири место, а ты его в некрута царские привез, — говорит старик-крестьянин барскому приказчику. — Которые на череди, ты тех не отдаешь!

— Тятенька, голубчик! Затылочек заметить приказали, — радостно вскрикивает молодой красивенький па-

ренъ, выскакивая из дверей присутствия. — Расширение жилы!

— Тебе как затылок-то брить: по-модному, что ли? — острит цирюльник — солдатик из жидков.

— Нам все одно, — отвечает за сына старик отец, — стыда в этом нет. Садись, Петруша, садись. Мать-то уж, чай, там досыта навылась!

— В госпиталь на испытание! — раздается голос председателя.

— В гошпиталь на воспитание! — кричит солдатик, выпроваживая из присутствия «сомнительного» рекрута.

— Я человек ломаный! Мне сорок годов. У меня уж скрозь ребра кишки видно, а меня в солдаты! Какой же это порядок! Какой я солдат! Мне, по-божьему-то, в богадельню бы куда... Мало ли нашего брата мещанина путается, которые непутные сами продаются в охотники. Я живописец, образа писал, никого не трогал... — говорит, трясясь всем телом, бледный, худой посадский мещанин.

— Мастеровщина ваша так теперь и летит! — замечает один из сдатчиков. — Портных очень начальство обожает: как сейчас портной, так и пожалуйте!

— Портной теперь человек нужный.

— Ну, положим портной, — вмешивается кто-то, — а ежели сайками кто торгует — тех за что? На Яузском мосту вчера одного так с лотком в прием и потащили.

Сердце надрывалось, — больно было смотреть на новых рекрутиков, препровождаемых вечером в Крутицкие казармы. Толпа, стоявшая несколько часов без порток в рекрутском присутствии, ожидая своей очереди, обезображенная жидом-цирюльником — это было переселение душ на двадцать пять лет в иной мир, в мир розог, шпицрутенов, фухтелей, линьков, зуботычин.

Во время набора последовал манифест о разрыве дипломатических сношений с Англией и Францией. Московский трактир обругал Наполеона жуликом.

В театре в это время дела шли своим порядком. Из Петербурга прислана была для постановки новая пьеса актера Григорьева «Подвиг Марина». Из уважения ли к подвигу, или по другим причинам, эту нелепость сыграли, и успеха она никакого не имела.

В один из спектаклей я узнал от моего приятеля, что Островский написал новую пьесу «Бедность не порок». На другой же день я пошел к Александру Николаевичу. Он жил тогда у Николы в Воробине, под горой, на берегу реки Яузы, в собственном небольшом деревянном домике. Домик этот стоит и поныне. Но... там, в этом домике, где великий художник свои «вещие персты на живые струны вскладаше» и эти струны пророкотали «Свои люди — сочтемся», «Грозу», «Воеводу», — там теперь увеселительное заведение с «распитием на месте».

Александр Николаевич принял меня крайне ласково, и я стал переписывать пьесу у него в кабинете. На другой день его посетил Аполлон Александрович Григорьев. Не придавая никакого значения своим рассказам — у меня их в то время было три: «Сцена у квартального надзирателя», «Сцена у пушки» и «Мастеровой», — я рассказал сначала одну сцену, потом другую, потом третью. Аполлон Александрович затребовал продолжение, но у меня больше не было. Александр Николаевич сдержанно, а Аполлон Александрович восторженно похвалили меня.

— Вы наш! — воскликнул он, ударяя меня по плечу.

Дня через два Александр Николаевич читал пьесу у себя. Собрались ее слушать: Н. А. Рамазанов, П. М. Боклевский, А. А. Григорьев, Е. Н. Эдельсон, Б. Н. Алмазов, А. И. Дюбюк и другие. Ждали П. М. Садовского, но он не был. Всем присутствовавшим пьеса была уже известна: они слушали ее во второй раз. После чтения Александр Николаевич предложил мне рассказать мои сцены. Успех был полный. С этого вечера я стал в этом высокоталантливом кружке своим человеком. Е. Н. Эдельсон стал мне давать небольшие книжки для рецензии в «Москвитянине», а Аполлон Александрович настоятельно требовал, чтобы я написал что-нибудь для журнала. Я написал небольшую сцену «Просто случай», помещенную потом в «Отечественных записках» 1855 года.

Александр Николаевич меня вывозил в свет, до Погодина включительно. Мы были несколько раз у графини Е. П. Растопчиной, у С. А. Пановой. Она жила на Собачьей площадке. Сын ее, Николай Дмитриевич, страстный любитель музыки и литературы, устраивал

у себя спектакли[1]. В одном из спектаклей участвовал Александр Николаевич в роли Маломальского, и я вышел в первый раз на сцену в роли полового.

На этом спектакле я в первый раз познакомился с Провом Михайловичем Садовским. Он остался очень доволен моими рассказами, и я несказанно был счастлив, что вызвал смех у царя смеха.

— Приходите ко мне каждый день, — сказал мне на прощанье Пров Михайлович.

И стал я к нему ходить каждый день, и привязался я к этому редкому человеку и гениальному артисту всей душой, и пользовался его взаимной любовью до конца его дней. Он тоже полюбил меня и поручил мне обучение своего сына Миши грамоте. Мальчик оказался чрезвычайно способным, и мне не стоило никакого труда заниматься с ним.

Принимала также участие в спектаклях Н. Д. Панова графиня Растопчина, сама писавшая для себя небольшие пьески, обыкновенно в два-три лица и разыгрывала их с И. В. Самариным, актером Малого театра. Режиссерскую часть принимали на себя Н. А. Рамазанов и Н. И. Шаповалов. Спектакль заключался дивертисментом, в котором участвовали А. И. Дюбюк, П. М. Садовский и я.

Гостеприимные двери А. А. Григорьева радушно отворялись каждое воскресенье. «Молодая редакция» «Москвитянина» бывала вся налицо: А. Н. Островский, Т. И. Филиппов, Е. Н. Эдельсон, Б. Н. Алмазов, очень остроумно полемизировавший в то время в «Москвитянине» с «Современником» под псевдонимом Ераста Благонравова. Шли разговоры и споры о предметах важных, прочитывались авторами новые их произведения: так, Борис Николаевич в описываемое мною время в первый раз прочитал свое стихотворение «Крестоносцы»; А. А. Потехин, только что выступивший на литературное поприще, — свою драму «Суд людской — не божий»; А. Ф. Писемский, ехавший из Костромы в Петербург на службу, устно изложил план задуманного им романа «Тысяча душ». За душу хватала русская песня в неподражаемом исполнении Т. И. Филиппова; ходенем ходила

[1] Один из друзей Александра Николаевича, который тогда и впоследствии собирал и хранил все черновые рукописи его пьес. Где теперь эти рукописи? — *И. Г.*

гитара в руках М. А. Стаховича; сплошной смех разлавался в зале от рассказов Садовского; Римом веяло от итальянских песенок Рамазанова. Вот одна из его песенок:

Отслужили литанию
Богоматери святой.
И засел в исповедницу
Капуцин седой.
Перед старцем на коленях,
Утопаючи в слезах,
Мариуччи молодая
Кается в грехах:
«Padre mio! [1] Влюблена я...»
«Что ж, мое дитя,
То не смертный грех —
Случалось, был влюблен и я».
«Вот что, padre, онамедни
Дома я была одна,
Мама с братом у обедни,
Я стояла у окна...
Вдруг стучится кто-то в двери...
Сердце замерло во мне!
То был он!.. Мадонна Sancta! [2]
Буду я гореть в огне?»
«И ты двери отворила?..
Sancta Trinita!» [3]
«Отворила», что ты, padre!
Дверь была не заперта».

Бывали на этих собраниях: Алексей Степанович Хомяков, Никита Иванович Крылов, Карл Францевич Рулье. Из музыкально-артистического мира: А. И. Дюбюк, И. К. Фришман, певец Бантышев и другие. Не пренебрегал этот кружок и диким сыном степей, кровным цыганом Антоном Сергеевичем, необыкновенным гитаристом, и купцом «из русских» Михайлом Сергеевичем Соболевым, голос которого не уступал певцу Марио.

Чуть не каждый день Александр Николаевич уезжал куда-нибудь читать свою новую пьесу. Толков и разговоров о ней по Москве было много. Наконец она назначена к представлению. Роли были розданы, и автор прочел ее артистам в одной из уборных Малого театра.

Часто посещая Прова Михайловича за кулисами во время репетиций и спектаклей, я перезнакомился со все-

---

[1] Отец мой *(итал.)*.
[2] Святая *(итал.)*.
[3] Святая Тринита *(итал.)*.

ми артистами. Московская труппа того времени сияла своими талантами. Маститый ветеран сцены Щепкин хотя и готовился к празднованию своего пятидесятилетнего юбилея, но талант его не угасал. Городничий, Фамусов, Утешительный являлись на сцене все теми же нестареющими созданиями. Колоссальный талант Садовского, после исполнения им купца Русакова в «Не в свои сани не садись» Островского, вырос во всю меру; молодое дарование Сергея Васильева проявилось во всем блеске. Самарин, в своем неблагодарном репертуаре молодых людей, стоял очень высоко; Шумский, вернувшийся из Одессы, сразу занял в труппе почетное место. А какие были первоклассные актеры: Живокини, Никифоров, Степанов!.. Женский персонал, хотя сравнительно и бедный по количеству, не отставал от мужского по качеству. Какие слезы извлекала у зрителей Л. П. Косицкая; какими живыми лицами являлись на сцене А. Т. Сабурова, С. П. Акимова и сестры Бороздины — Варвара и Евгения; с какой художественной правдой передавала свои роли Екатерина Николаевна Васильева!

Мнения в труппе относительно новой пьесы разделились. Хитроумный Щепкин, которому была назначена роль Коршунова, резко порицал пьесу. Он говорил: «Бедность не порок, да и пьянство — не добродетель». Шумский следовал за ним. Он говорил: «Вывести на сцену актера в поддевке да в смазных сапогах — не значит сказать новое слово». Самарин, принадлежавший к партии Щепкина, хотя и чувствовал, что роль (Митя) в новой пьесе ему не по силам, — молчал. А Петр Гаврилович Степанов говорил: «Михайлу Семенычу с Шумским Островский поддевки-то не по плечу шьет, да и смазные сапоги узко делает — вот они и сердятся». Точно: ни ветерану русской сцены, ни блестящему первому любовнику Самарину, ни прекрасному (водевильному в то время) актеру Шумскому новые, неведомые им типы Островского не удавались. «Новое слово» великого писателя застало их врасплох. Для этого «слова» выдвинулись свежие, молодые силы в лице С. В. Васильева и Л. П. Косицкой и, соединившись с Садовским и Степановым, поставили репертуар Островского так высоко, что он на долгое время сделался господствующим на московской сцене.

Михайло Семенович должен был посторониться, и,

мне кажется, в этом и вся причина его нерасположения к пьесам нового писателя. Невозможно, чтобы мог величайший из русских артистов, видавший на своем веку всякие виды, живший духовной жизнью в самом ученом и образованном кругу, пятьдесят лет прослуживший драматическому искусству, мог не понять таких созданий, как «Свои люди — сочтемся», «Бедная невеста», «Не в свои сани не садись», а он прямо говорил, что он их не признает, а об «Грозе» отзывался с отвращением. В споре об этой пьесе он до того разгорячился, что стукнул костылем и со слезами сказал:

— Простите меня! Или я от старости поглупел, или я такой упрямый, что меня сечь надо.

Садовский объяснял это по-своему:

— Ну, положим, Михаил Семенович может дурить на старости лет: он западник, его Грановский наспринцовывает, — а какой же Шумский западник? Он — Чесноков.

Объясняли это еще тем, что круг, в котором вращался Михаил Семенович, так называвшиеся в то время «западники» (Грановский, Кудрявцев, Катков), неприветливо смотревшие на нового автора, который, за принадлежность к «молодой редакции» «Москвитянина», сопричастен был к лику славянофилов.

Все-таки на конце своей славной жизни, года за три или четыре до смерти, ветеран-художник протянул руку примирения Любиму Торцову и сыграл его в Нижнем Новгороде (не знаю — повторил ли он эту роль в Москве). С потоком слез обнял он и...

Мы участвовали на литературном утре в Московской четвертой гимназии, в доме Пашкова. Читали А. Н. Островский, П. М. Садовский, М. С. Щепкин, С. В. Шумский, И. В. Самарин и я. Блестящая публика собралась на наше чтение, тем более что сбор с него поступал в одно из благотворительных заведений, и раздачу билетов приняли на себя дамы высшего света.

Вышел на эстраду Михаил Семенович. Долго неумолкавшим громом рукоплесканий встретила его публика. Кончился восторженный прием. Михаил Семенович стоит молча... Аплодисменты раздаются снова... Молчание.

— Старик забыл, — говорит Шумский.

Гробовое молчание.

— Столбняк нашел! Надо выйти подсказать, — говорят.

На меня пал жребий идти на эстраду. Что подсказать? Кажется, на афише не было назначено, что он будет читать. Кто говорит — «Полководец» Пушкина; кто говорит — про Жакартов станок, стихотворения, которые он читал часто.

Наш Щепкин не раз про Жакартов станок
Рассказывал нам со слезами, —
И сам я от слез удержаться не мог,
И плакали Корши все с нами.

Решили: про Жакартов станок.

Я вышел на эстраду и сказал совсем растерявшемуся Михаилу Семеновичу первый стих:

Честь и слава всем трудам...

Старик воспрянул и с страстным одушевлением прочитал стихотворение (это было за два года до его смерти).

— Что с вами, Михаил Семенович? — окружили его, когда он вошел в залу, из которой выходили на эстраду.

— Да уж, должно быть, к праотцам пора! А тебе большое спасибо! — обратился он ко мне. — Я думаю, тебе конфузнее было выходить, чем мне молча стоять.

— Мы не знали, что́ вы хотите читать: мы думали подсказать вам «Полководца», — сказал Самарин.

— Совсем бы зарезали! «Полководца» уж я давно не читал, а это-то сегодня раза три пробежал, — отвечал Щепкин.

С потоком слез обнял он меня и в то же время Островского. Сцена была чувствительная. Не помню слов, какие говорил Щепкин, но помню, что Александр Николаевич очень растрогался.

— Какой счастливый Александр Николаевич! — сказал Садовский, когда мы пошли домой.

— Чем?

— Как чем? Михаил Семенович-то «приидите поклонимся» ему сделал.

В театре также были славянофилы и западники. Щепкин, Шумский, Самарин были западники, Садовский был славянофил.

— Любовь, ты западница или славянофилка? — обратился раз Садовский к Л. П. Косицкой.

— Я, милый мой, на всякое дело гожусь, лишь бы правда была. Ты какой веры — славянофил? Ну, я с тобой на край света пойду. А вот Шумский западник, — может, его вера и лучше твоей, только от нас подальше, — отвечала веселая Любовь Павловна.

Знаменитая актриса Аграфена Тимофеевна Сабурова называла театральных западников «хлыстами».

— Сережа, — говорила она С. В. Васильеву, — ты не вздумай в их компанию перейти — я с тобой играть не стану.

Садовскому от западников сильно доставалось. Ленский писал на него грубые эпиграммы и вообще на его счет острословил. Как актер, он стоял далеко не на первом плане, хотя и играл Хлестакова, но знал французский язык, хорошо переводил и переделывал водевили, писал гладко стихи, что́ в то время ставилось в заслугу. Образованья был невысокого, эпиграмма его не была «хохотунья» и часто обличала в ее авторе отсутствие литературного вкуса, ни для акафиста ему, ни для печатного станка не годилась, но в своем кружке, в веселой компании, в купеческом клубе, в кофейной Московского трактира, — цена ей была высокая. Оставшиеся в живых, уже убеленные сединами бывшие бражники и весельчаки доныне вспоминают веселые беседы с участием Д. Т. Ленского, человека нервного и раздражительного. Пословица говорит: «Для красного словца не пожалеет родного отца». Так и он: поздравляя, со слезами на глазах, М. С. Щепкина с предстоящим пятидесятилетним юбилеем, он в ту же минуту изрек:

Заиграет оркестр Сакса,
И запенится Аи,
Зарыдает старый плакса,
А с ним денежки мои.

Приглашенный на один роскошный обед в какой-то ресторан в качестве гостя, он дает такой отчет об этом обеде:

Обед наш был весьма негоден,
Не много было и ума:
Нам речи говорил Погодин,
А деньги заплатил Кузьма[1].

[1] Кузьма Терентьич Солдатенков. — *И. Г.*

Мы все ждали с нетерпением первого представления «Бедность не порок». Начались репетиции, и мы с Александром Николаевичем бывали на сцене каждый день. Наконец, пьеса 25 января 1854 года была сыграна и имела громадный успех. Садовский в роли Любима Торцова превзошел самого себя. Театр был полон. В первом ряду кресел сидели: граф Закревский и А. П. Ермолов, большой почитатель Садовского.

— «Шире дорогу — Любим Торцов идет!» — воскликнул по окончании пьесы сидевший с нами учитель российской словесности, надевая пальто.

— Что же вы этим хотите сказать? — спросил студент. — Я не вижу в Любиме Торцове идеала. Пьянство — не идеал.

— Я правду вижу! — ответил резко учитель. — Да-с, правду! Шире дорогу! Правда по сцене идет. Любим Торцов — правда! Это — конец сценическим пейзанам, конец Кукольнику: воплощенная правда выступила на сцену.

«Московские ведомости», единственная тогда газета, не обмолвилась ни одним словом о новой пьесе; лишь Н. Ф. Щербина почтил автора гнусной эпиграммой.

Вплоть до масленицы пьеса не сходила с репертуара, несмотря на то, что ее загораживала гостившая в то время в Москве знаменитая Рашель. Москва чествовала ее по-московски: в последний спектакль на масленице, в воскресенье, ей поднесен был от публики серебряный кубок с изображением московского герба; М. С. Щепкин поднес ей каллиграфическую рукопись «Сцены из «Скупого рыцаря». К рукописи были приложены картинки, заимствованные из содержания сцен, два вида Москвы, свой портрет и французские стихи, «мастерски написанные женщиной-поэтом», как сказано в «Московских ведомостях». Говорили, что стихи писала графиня Растопчина. Западники были в полном увлечении от Рашели, а славянофилы воздали «коемуждо по делом его». Аполлон Александрович Григорьев ответил Щербине тоже эпиграммой и написал стихотворение «Рашель и правда».

Злоба Щербины не имела границ. Он, кроме злостной эпиграммы, поддерживал еще клевету на Александра Николаевича в плагиате первой комедии. Клевета эта печатно поднималась два раза, пока не вызвала протеста Александра Николаевича, напечатанного в «Современнике». Клеветники приписывали пьесу купеческому сыну

Гореву, который написал ужаснейшую дребедень под заглавием «Сплошь да рядом», напечатанную в «Отечественных записках». Один актер хлопотал о пропуске ее в театрально-литературном комитете. Комитет был последователен в притеснении Островского. Комитет пропустил, а вскоре «ничтоже сумняшеся» забраковал прелестнейшую комедию Островского «Свои собаки грызутся». Спустя год министр двора граф В. Ф. Адлерберг велел пьесу пересмотреть вновь, другими словами — пропустить. Комитет с важностью занес в журнал. Пьеса была сыграна с большим успехом и долго оставалась на репертуаре, а член театрально-литературного комитета Ротчев после первого представления написал в «Инвалиде» о неуспехе пьесы и окончательном падении таланта Островского. Из четырех членов театрально-литературного комитета, подавших голос против пьесы, остались неизвестными для потомства три: четвертый заявил себя печатно (А. Г. Ротчев), отозвавшись крайне неодобрительно и с чувством озлобления. Я написал против его отчета несколько слов в «Северной пчеле» и дорого за это поплатился. Мне было сделано от начальника репертуара строгое внушение, что, состоя на службе, и т. д. Сколько я ни оправдывался, что это дело частное, нисколько до службы моей не относящееся, но начальство стояло на своем.

De mortius... [1], но Ротчев не был в театре и пьесы не видал, и был в этом уличен. Подобные отчеты бывали прежде нередко. Писались даже отчеты заблаговременно. Так, директору Сабурову одна русская княгиня за границей рекомендовала принять на службу в русскую оперу соотечественника, обладавшего, по ее словам, необыкновенным голосом. В самом же деле у этого певца голосу было только на пятиалтынный. Директор исполнил просьбу и заключил с певцом контракт. Газеты зашумели: из-за границы едет необыкновенный певец, берет ут-диез чище Тамберлика, будет дебютировать в «Отелло» и т. п. Явился этот певец. То был Кравцов. На репетиции дебютант проявил все данные ему богом голосовые средства: оказалось очень мало. Но этому не поверили: одни отнесли к застенчивости, другие к желанию дебютанта показать себя во всем блеске на первом представлении.

---

[1] О мертвых *(лат.)*.

Петр Ильич Юркевич, член театрально-литературного комитета, принадлежал к числу последних. Едучи в театр, он завез в типографию одной газеты, в которой был постоянным сотрудником, несколько прочувствованных слов о первом дебюте: «При появлении певца-феномена зала задрожала от рукоплесканий». Ут-диез поразил всех, как громом. Весь фешенебельный Петербург присутствовал на торжестве молодого дебютанта. Подробности завтра». Действительно, в зале Мариинского театра весь фешенебельный Петербург был в этот вечер. Действительно, раздались аплодисменты при появлении нового певца, но не только ут-диеза, даже никакого голоса фешенебельному Петербургу певец не предъявил, обеспокоил только почтеннейшего Юркевича, который во время антракта должен был съездить в типографию и взять у наборщика свой восторг обратно.

В одну из поездок по Волге в Казани я познакомился с Горевым: он был актером в казанской труппе. Это был настоящий Любим Торцов. Оборванный, обдерганный пьяница, неоднократно подвергавшийся припадкам белой горячки, человек буйный. Перед моим с ним знакомством он только что вышел из больницы, где лечился от нанесенной ему каким-то трагиком в живот раны той же самой посудой, из которой они вместе пили. Да не подумайте, что я кладу очень густые краски на эту личность для того, чтобы выставить ее рельефнее, — нет! — это есть истинная правда. В дни оны подобные люди представляли тип. Они обыкновенно выходили из разоренного купеческого гнезда. Разорился, например, купец и побрели розно все родственники, составлявшие дом: «купеческие братья, купеческие племянники, тетки и т. п.». Бессильные и дряхлые, становившиеся на паперти церковной, тетки расползаются по пустыням и монастырям, в которых они прежде считались благодетельницами. Молодежь, вкусившая на дядин капитал всех прелестей прежней Нижегородской ярмарки с ее историческим селом Кунавиным, с трактирами Никиты Егорова, Барбатенки и т. п., путались по Москве без всякого дела. Иные пристраивались к какому-нибудь певческому хору, другие продавались в солдаты, а некоторые поступали в актеры. Таких актеров прежде в провинции можно было встретить много. Горев происходил именно из разоренного купеческого гнезда. Я не могу понять, каким

образом литературным людям, беседовавшим с Горевым, могло прийти в голову, что он мог написать такую высокую комедию, как «Свои люди — сочтемся»? Ведь это был человек необразованный, даже малоразвитый. С особенным чувством эта клевета поддерживалась в одном петербургском литературном кружке. В 1846 году Т. И. Филиппов познакомился с Островским и застал пьесу черновою. Сам он третий акт переписывал с Н. В. Кидошенковым.

Вероятно, эту сплетню распустил сам Горев, потому что ни на одного Островского он посягнул: Горев впоследствии присваивал себе пьесу Чернышева «Не в деньгах счастье», но эта сплетня дальше актерского кружка не пошла.

Горев в разговоре со мною уклонялся разъяснить мне эту гнусную историю, но назвал лиц, которые ему покровительствовали в Москве. Это был несчастный человек, страдавший галлюцинациями. Он умер, подавившись рыбной костью.

Вслед за Островским попробовали свои силы в изображении купеческого быта актер Красовский, написавший комедию «Жених из ножовой линии», М. Н. Владыкин — пьесу «Купец-лабазник». Она и до сих пор играется в провинции, но в Москве была снята после нескольких представлений по распоряжению графа Закревского, и вот почему. Владыкин был военный инженер; написал свою комедию в Петербурге. Главное действующее лицо в пьесе был купец Голяшкин. Эту роль в Москве играл Садовский. На несчастье автора, в Москве отыскался не вымышленный, а настоящий купец Голяшкин. Пошел по купечеству разговор. Заходили слухи, что племянники Голяшкина по злобе на дядю заказали написать пьесу, чтобы «пустить на него мораль». Хотя в пьесе никаких намеков на настоящего Голяшкина не было, но все-таки она была снята в уважение заслуг его по благотворительным учреждениям. Запрещение мотивировали тем, что в пьесе унижается благородное сословие.

За Владыкиным выступил ходатай по судам от купечества Н. З. Захаров, которого купцы звали Сахар Сахарычем.

Затем написал пьесу купец Солодовников. Этому творению не суждено было восхищать публику: оно осталось в конторе у автора. Оба же эти произведения кру-

жились около «Свои люди» и «Не в свои сани». Далее принес на рецензию Александру Николаевичу пьесу из купеческого быта Осипов: ее не играли, но впоследствии она была напечатана в «Отечественных записках».

В течение трех лет три пьесы нового автора («Бедная невеста», «Не в свои сани» и «Бедность не порок») сделали крупный поворот драматического репертуара на новую дорогу. Затребовались бытовые пьесы. Этому повороту помогли одновременно с первой пьесой Островского появившиеся на сцене пьесы: Сухово-Кобылина «Русская свадьба», драма «Расставанье» Родиславского, потом пьесы из народного быта «Суд людской — не божий» А. А. Потехина и другие. Полевой, Кукольник, Ободовский и вся французская мелодрама сошли со сцены. Мелодраму, впрочем, изредка поддерживал М. С. Щепкин, неподражаемо исполняя роль матроса в пьесе того же названия. Шекспир, немножко сконфуженный Самариным в роли Гамлета[1], тоже посторонился и дал дорогу новому репертуару, тем более, что Леонид Львович Леонидов, лучший представитель каратыгинских традиций, вызванный в Москву для замещения Мочалова, был снова вызван в Петербург для замещения скончавшегося Каратыгина.

Каратыгин невысоко стоял во мнении наших учителей: он отличный актер, но не Павел Степанович (Мочалов) — до него ему далеко.

— Да-с, батюшка, далеко, — говорил Садовский. — Вот Аполлон чудесно сказал:

Мы Веронику с ним любили,
За честь сестры мы с Гюгом мстили,
И — человек уж был таков —
Мы терпеливо выносили,
Как в драме хвастал Ляпунов[2].

— Позвольте вам доложить, — заносчиво возразил бывший в Москве молодой петербургский актер, — Белинский сказал о Каратыгине в «Велизарии»...

— Это для вас, — обиделся Садовский, — для санкт-петербургских, Белинский — евангелие, а для нас он

[1] При постановке «Гамлета» в бенефис Самарина М. С. Щепкин собрал у себя артистов, участвовавших в пьесе. — *И. Г.*

[2] Стихотворный пролог А. А. Григорьева «Рашель и правда». — *И. Г.*

ничего не значит. Мы сами кое-что понимаем и без Белинского. Белинский нам не указ. Мы своим умом живем. Да что тут и играть-то в «Велизарии»? Всякий московский протодьякон сыграет Велизария. Кричи громче — вот тебе и Велизарий! А вот Гамлета ваш Каратыгин играет очень нехорошо, а Павел Степаныч... Да вот что! — разгорячился Садовский. — Я играл с ним в «Гамлете» Гильденштерна.

— «Сыграй мне что-нибудь», — говорил он, подавая мне флейту...

— «Я не умею, принц...» — отвечал я, взглянувши на него... Чувствую по всему телу озноб, зубы у меня задрожали. С этой минуты я и постиг, что значит актер.

— Значит, вы находите, что у Мочалова было больше, как говорят французы... чем у Каратыгина?

Садовский ехидно улыбнулся, потому что споривший щегольнул французской фразой, не зная французского языка.

— Не знаю, что французы говорят, а вот у нас говорят, что Мочалова с вашим Каратыгиным равнять нельзя. Мочалов — гений!

— Нельзя же отказать Каратыгину...

— Да мы и не отказываем, а сажаем всякого на свое место. Мартынов у вас — вот актер! Чудеснейший актер! Ну, какой Каратыгин Гамлет, какой он Чацкий? Это какой-то директор департамента... Отнимите у него рост, что он с одним своим басом сделает? Он холодный актер, деланный: ему только и играть Кукольника да Ободовского...

— А Белинский!.. — вскочил актер.

— Ну, что Белинский? И Белинский говорит, что он Гамлета играть не умеет.

Прекрасно сыгранная Л. Л. Леонидовым в Москве роль была в пьесе «Бенвенуто Челлини», и чуть ли она была не последняя в его огромном репертуаре. Мне кажется, что после этой пьесы, пародируя стих поэта,

Грустным взором он окинул
Ряд ролей своих,
Шапку на брови надвинул,
И навек затих.

И много тогда затихало актеров!

Не без сожаления рассталась с Леонидовым Москва, привыкшая любить его. С грустью расстались с ним друзья его А. Н. Островский и П. М. Садовский и все товарищи по искусству.

В моем собрании автографов есть письмо знаменитой в те дни актрисы М. Д. Львовой-Синецкой к Ф. А. Кони: «Вы, я думаю, уже слышали новость театральную, что к вам в Петербург берут от нас Леонидова. Признаюсь, это — потеря для нашего театра: он сделался замечательным артистом».

Дом Леонида Львовича был открыт для представителей всех родов искусства: актеры, литераторы, художники, певцы — все были его дорогими гостями, читали, играли на бильярде, пели, спорили. Больше всех по своей горячей натуре спорил сам хозяин. В числе его друзей чаще всех можно было встретить А. Н. Дьякова. Прекрасный каллиграф, равного которому не было в Москве (его прописи для юношества были в употреблении почти во всех учебных заведениях), рисовальщик пером, подражатель Мочалову в чтении стихов, сам стихотворец, друг поэта Полежаева, страстный любитель театра, сам пробовавший свои силы на императорской сцене в драме «Жизнь игрока», — этот человек вел бездомную, скитальческую жизнь и кончил дни свои в больнице. Ни одного его стиха не было напечатано, но в рукописи они были распространены. Особенно нравилось его послание к друзьям из больницы. Привожу несколько стихов:

За безгрешность житья
На больничную я
    Попал койку, —
Где смекают умом
В организме моем
    Перестройку.
И удар был, друзья,
От хмельного питья —
    С перепою.
День и ночь я, друзья,
Был свиньею свинья
    От настою.
Больше всех эконом
За больничным столом
    Смотрит строго.
С ним инструкция есть,
Чтоб по форме всем есть,
    Есть немного.

А уж сколько сортов
Мне втирают спиртов
Все снаружи.
Но их в тело втирать,
Чем в утробу вливать
Много хуже.

И так далее.

Одно время он пребывал у Меркли (писал в «Московском наблюдателе» под псевдонимом Иеронима Южного). Матушка Меркли получила из своего имения балыки. Дьяков обращается с таким посланием:

Вчера из Харькова балык
Остановился в доме Меркли,
А тот балык уж так велик,
Что даже очи всех померкли.
Вчера из Харькова балык
Приехал в древнюю столицу,
А тот балык уж так велик,
Что мог прельстить бы и царицу.
Но я не царь и не царица,
А просто Алексей Дьяков,
Пришлите ж, несмотря на лица,
Нам на закуску балыков!

А вот еще обращение его к Фебу:

О, Феб, к тебе я обращаю
С молитвой чистой голос мой,
Но не китайского я чаю
Прошу с больною головой,
Не жирных рябчиков в причуде —
С салатом, свежим огурцом, —
Не стерлядь пышную на блюде,
Роскошно свернуту кольцом.
Мое желанье не роскошно,
Неприхотливое оно:
О, боже, боже, как мне тошно,
Щемит в груди моей давно...
О, Феб, ведь только лишь семь гривен
На водку пенную прошу,
А семь копеек, что ты дивен,
На твой я жертвенник вношу.

Перевод Леонидова в Петербург не был особым счастьем для артиста, а скорее окончанием его артистической карьеры. При полном развитии своего таланта и сценической опытности он не нашел себе (на петербургской сцене) репертуара (например, в новом произведении Кукольника «Ермил Костров» первенствовал В. В. Самой-

лов, который стал также играть Шекспира). Со смертью Каратыгина и Брянского репертуар Шекспира заглох, давали одного «Гамлета», которого играл А. М. Максимов. Блестящая роль Людовика XI («Заколдованный дом»), в котором был велик Каратыгин, хотя была по плечу и в средствах возвратившемуся «во своя» артисту, но свои его «не прияша»: эту роль тоже и крайне неудачно сыграл А. М. Максимов, который из водевильного актера и любимого первого любовника превратился в неудачного трагика[1]. Почтенному артисту пришлось доедать объедки, оставшиеся от «многопестротной трапезы» Каратыгина, то есть сесть на старый, совершенно заигранный репертуар («Жизнь игрока», «Параша Сибирячка», «Скопин-Шуйский» и т. п.), — репертуар, который быстро вытеснялся новым бытовым репертуаром. Были уже сыграны «Бедная невеста», «Не в свои сани», «Бедность не порок», потом явилась пьеса из народного быта А. А. Потехина «Чужое добро впрок нейдет», в которой Мартынов проявил всю силу гениального таланта. А тут появился граф Соллогуб со своим благородным чиновником, крикнувшим со сцены на всю Россию, что пришла пора «искоренить зло с корнями». А потом чиновник Львова («Свет не без добрых людей») простонал «тяжела жизнь бедного чиновника».

Публике так понравились эти пьесы, что последнюю из них она просмотрела более двадцати пяти раз сряду. Затем явилась пьеса Чернышева «Не в деньгах счастье»,

---

[1] Петербург любил этого артиста. В водевилях он играл необыкновенно весело и развязно, зато эту веселость и развязность он переносил и на серьезные роли, например Хлестакова, который являлся в его исполнении лицом водевильным, даже с примесью шаржа. В ролях первых любовников он являлся необыкновенным франтом, и недостаток воодушевления возмещал часто криком. И это франтовство он переносил на роли, которые этого совсем не требовали, например, в роли Чацкого он выходил во фраке, фалды которого были из белого атласа, а крик его в последнем акте «Горе от ума», я уверен, видевшие его в этой роли до сих пор помнят.

«Бегу не... огля-нусь, пойду искать-ппа-свету» и т. д.

— Не играет, а ревет, — сказал один раз про него А. Ф. Писемский.

Впрочем, я, может, ошибаюсь, меряя на свой московский аршин. Мне многое казалось нехорошо, чему публика рукоплескала.

Критика того времени не замечала почетному артисту этих недостатков, а может быть, это было во вкусе времени: редко кого так радушно и весело встречала и провожала публика. — *И. Г.*

затем «Гроза» Островского, в которых Мартынов окончательно убил все приемы старой каратыгинской школы, и каратыгинскому репертуару отведено было место в воскресных спектаклях, в бенефисы инвалидам, даваемые военным кавалерам.

Конец сезона 1859 и сезон 1860 года не сходила с афиши драма «Гроза». Ее пересмотрел положительно весь Петербург. Толку и говору о ней было очень много. Играли ее превосходно. Одно из представлений изволила посетить покойная императрица Мария Александровна, в сопровождении князя Петра Андреевича Вяземского. Перед началом спектакля директор театров А. И. Сабуров бегал, суетился, что-то приказывал и наконец спросил, какая пойдет пьеса? Ему отвечали: «Гроза» Островского.

— Пожалуйста, чтобы не глязная (он не выговаривал букву «р»), — важно заметил он режиссеру.

Пьеса уже прошла две цензуры: одну для печати — строгую, другую для представления на сцене — строжайшую. И под обоими цензурными микроскопами в ней ничего не найдено. Но режиссер, вследствие замечания начальства, посмотрел еще раз в свой микроскоп, увеличивающий в большее число раз, чем цензурные микроскопы, и вынул из пьесы три фразы и изменил одну сцену.

Мы с артисткой Е. М. Левкеевой (Кудряш и Варвара) удостоились получить после третьего акта через директора благодарность ее величества.

— Вот, любезный друг, — сказал он мне, — если бы у нас все такие пьесы были!..

— Есть еще пьеса Островского, только запрещена цензурой. Если бы вы изволили походатайствовать, может, она будет пущена.

— С удовольствием! — отвечал восторженно Андрей Иванович. — Принесите ее мне... Непременно... Завтра же...

На другой день я вырвал пьесу из кушелевского издания, смастерил кой-какую обложку, написал для памяти небольшую записку и понес к Андрею Ивановичу.

— Не в час пришли вы, сударь, — сказал мне дежурный капельдинер, когда я попросил о себе доложить.

— Почему?

— Строг сегодня. Перед вами только что кричал на

одного... оперного... Коли угодно, я доложу, а только что... И мне, пожалуй, неприятность будет.

— Прошу доложить.

Скрипнула дверь, скрылись за нею фалды капельдинера. Миг! И я стою перед директором. Вчера восторженное, сияющее лицо приняло строгое выражение, до того строгое, что неприятно было смотреть на него. Вечно слезящиеся красноватые глаза его сузились, маленькие свинцового цвета зрачки быстро бегали.

— Я вам сказал, любезный друг, что прибавкам я положил предел?! Больше никто не получит прибавки. Довольно!

— Вы мне приказали, ваше превосхо...

— Ничего я вам не приказывал! Все говорят, что я приказал. Я все помню, что я приказывал.

— Я не за прибавкой пришел, ваше превосходительство, я принес вам пьесу.

— Это к Павлу Степановичу, а не ко мне. Я в комитете не член. Павел Степанович там член. Я не могу Павлу Степановичу приказать.

— Извините, ваше превосходительство! Вы вчера лично изволили мне приказать принести вам пьесу Островского, запрещенную цензурой.

— Зачем?

— Чтоб ходатайствовать о ее разрешении.

Андрей Иванович быстро приложил два пальца ко лбу.

— Теперь помню! Пожалуйте сюда.

Мы вошли в кабинет. Я доложил все, как следует. Андрей Иванович при мне собственноручно написал письмо по-французски шефу жандармов князю Долгорукову, приложил мою записку и пьесу и приказал отправить тотчас же. Толчок был дан очень сильный. Князь приказал пересмотреть пьесу.

Цензором драматических произведений в то время был И. А. Нордстрем, любезнейший и обязательнейший человек. Он пошел с А. Н. Островским на соглашение: в силу тогдашних цензурных условий, он предложил ему наказать порок в лице Подхалюзина. Пороки в то время обыкновенно преследовались квартальными, и вот в конце пьесы автор пригласил квартального наказать Подхалюзина. В последнее время, когда при новых судах квартальные потеряли свой престиж, из высокохудоже-

ственной комедии и квартального убрали. В первый раз пьеса дана была 16 января 1861 года, в бенефис актрисы Линской.

Я несколько отвлекся от последовательного рассказа.

Я сказал, что после трех пьес нового автора на сцене сделался крутой поворот в другой репертуар. Этот поворот тотчас отразился и на провинции, где царила и переводная и доморощенная трагедия и драма.

В знаменитой Белой зале (в гостинице Барсова против Малого театра), в которую великим постом съезжались актеры со всего лица земли русской; антрепренеры стали искать между сценическими деятелями уже не Гамлета, а Любима Торцова, отстраняли Силина Сиротинку, а требовали Бородкина.

Вслед за последней пьесой Александр Николаевич сел за новую — «Не так живи, как хочется». Писал он ее долго, с большими перерывами. В то время я жил у него и следил за процессом его творчества. Писал он обыкновенно ночью — не знаю, как впоследствии. На полулисте бумаги было сначала небрежно написано что-то вроде конспекта. Привожу его в точности:

Божье крепко, а вражье лепко.

Это зачеркнуто, а сверху написано:

Не так живи, как хочется.
Лица:
Старик.
Старуха.
Чует мое сердце, недоброе оно чует.
Монастырь.
Настали дни страшные. Опомнись!
Широкая масленица.
Груша. Девушки.
Вася.
Ну, пияй! ты меня пиять хочешь.
Еремка — олицетворение дьявола.
Уж я ли твому горю помогу,
Помогу, могу, могу.
Ночь.
Прорубь на реке. Удар колокола.
(Входит старик.)
(Балалайка.)
Сирота ты моя, сиротинушка!
Ты запой, сирота, с горя песенку.

Посетившему его артисту Корнилию Николаевичу Полтавцеву Александр Николаевич рассказал простран-

но, с мельчайшими подробностями содержание пьесы, но из-под пера вышло не то, что он рассказывал (по рассказу сюжет был гораздо шире), — может быть, оттого, что в это время он очень болел глазами, а пьесу нужно было окончить к бенефису.

Перед тем как сесть писать, Александр Николаевич обыкновенно долго ходил по комнате или раскладывал пасьянс, который он раскладывал и во время писания.

— Надо освежить голову, — говорил, — потруднее какой-нибудь пасьянс разложить.

Но если вообще он писал долго, то бывали пьесы, которые он справлял очень скоро. Например, «Воспитанницу» он написал, гостивши в Петербурге, в три недели; «Василису Мелентьевну», тоже в Петербурге, в сорок дней. Процесс писания этой пьесы он называл «искушением от Гедеонова». Директор императорских театров С. А. Гедеонов передал написанную пьесу Александру Николаевичу, который, оставивши в неприкосновенности сюжет, написал собственную пьесу, не воспользовавшись ни одной сценой, ни одним стихом из творения Гедеонова.

Лето 1854 года в политическом отношении было мрачное. Известия в Москве с театра войны получались в то время не с такой быстротой, как теперь, то есть известия официальные. «Столбовые» Английского клуба знали все, и «дверем затворенным» рассуждали, не стесняясь, о военных неудачах, «Альминском побоище», порицали главнокомандующего князя Меншикова. Рассуждения их урывками попадали в уши клубной прислуги, та переносила их в трактир, а трактир распространял их по всей Москве.

«Измена!» — заговорило захолустье, — и пошло!

В Сыромятники пришло известие, что француз уже тронулся и идет к Бородину. В Рогожской стали говорить, что каких-то двух значительных англичан, скованных, провели ночью через Рогожскую заставу в Сибирь, что какой-то купец оделял сопровождавшую их команду калачами, чтоб не упустили. На улице стали попадаться раненые офицеры. Прошел слух о новом наборе, о государственном ополчении, которое поведет в бой «испытанный трудами бури боевой» старый генерал Ермолов. На сцене появилась патриотическая пьеса петербургского

актера Григорьева «За веру, царя и отечество». Уличные шарманки и валы трактирных органов и оркестрионов заиграли песню Лейбрека, положенную на музыку капельмейстером петербургской русской оперы Константином Лядовым об англичанине, разорившем лайбу бедного чухонца. Песню эту с огромным успехом исполнял в то время на сцене Александринского театра В. В. Самойлов.

Знаменитая кофейная Печкина продолжала еще существовать. Я в ней бывал. Постоянными посетителями ее были профессор Рулье, А. И. Дюбюк, П. М. Садовский и многие другие. Темою разговоров и споров была, разумеется, война. Пров Михайлович, патриот до мозга костей, спорил до слез.

— Побьют нас! — сказал Рамазанов.

Пров Михайлович вскочил, ударил кулаком по столу и с пафосом воскликнул:

— Побьют, но не одолеют.

— Золотыми литерами надо напечатать вашу фразу, — произнес торжественно П. А. Максин: — побьют, не одолеют. Превосходно сказано. Семен, дай мне рюмку водки и на закуску что-нибудь патриотическое, например малосольный огурец.

— Извольте видеть, Иван Федорович, — сказал Пров Михайлович мне после, — как татары-то рассуждают!..

— Какие татары?

— А Рамазанов-то! Ведь он татарин, хоть и санкт-петербургский, а все-таки татарин... Рамазан!..

Московские купцы, посещавшие кофейную, все группировались около Прова Михайловича и слушали его страстные речи.

Петр Алексеевич Максин был отставной актер и бывал в кофейной Печкина каждый день, с утра до ночи. Он служил предметом шуток и насмешек, которые вызывал сам. Например, входит он в залу.

— Откуда, Петр Алексеевич?

— С печальной церемонии: был на погребении.

— У кого?

— Признаться сказать, в настоящее время я не знаю. Я был неожиданно приглашен к столу знакомым мне отцом дьяконом. Сидел рядом с прекраснейшим и ученейшим протоиереем от Сергия в Рогожской и получил от него совет, насчет моего ревматизма. Относительно све-

жей икры могу сказать, что она нарочно была выписана из Нижнего. Необыкновенная! Поставь пирамиду и подай рюмку водки! Эх, Петя, сразил тебя рижский бальзам! — воскликнул он, потерявши равновесие и падая на диван.

— Бальзам принадлежит к числу сильнодействующих средств, Петр Алексеевич. Неужели вы этого не знали? — сказал Карл Францевич Рулье.

— Не знал, потому что его всегда отпускают из ренсковых погребков без рецепта, — отвечал Максин, тотчас обращаясь к Бабаеву, очень талантливому ученику Дюбюка, но тоже человеку, от хмеля невоздержанному, и весьма серьезно и торжественно произнес:

— Бабков, брось ты свою пьяную компанию, перейди в наш благородный круг.

Я уже не застал кофейную в лучшее ее время, когда она была центром представителей литературы, сцены и других искусств. Она в то время падала, и ее посещали немногие.

В это время репертуар моих рассказов значительно расширился. Александр Николаевич поощрял меня и двигал вперед. Я стал постоянным его спутником всюду, куда он ни выезжал. Рассказы мои сделались известными в Москве: о них заговорили. Пров Михайлович, сам превосходный рассказчик, которому я не достоин был разрешить ремень сапога, относился ко мне с величайшею нежностью и вывозил меня, как он выражался, «напоказ».

— Мы завтра, Иван Федорович, будем вас показывать у Боткина.

Дом Боткиных принадлежал к самым образованным и интеллигентным купеческим домам в Москве. В нем сосредоточивались представители всех родов художеств, искусства и литературы, а по радушию и приветливости хозяев ему не было равных. Всякий чувствовал себя как бы в своем доме. Сергей Петрович Боткин, нежный, ласковый, молоденький студент, собирался в то время ехать врачом в Севастополь. Один из братьев Боткиных, Иван Петрович, любил Садовского до обожания, и мы с Провом Михайловичем бывали у него каждую субботу. Александр Николаевич тоже бывал часто. Добрейшее существо был этот Иван Петрович, а с покойным Павлом Петровичем мы были связаны узами самой тесной и крепкой

дружбы. Этот, хотя и не выделялся, как братья его, какими-либо талантами, но бог дал ему один талант — голубиную чистоту. До сих пор я питаю к этому дому мою сердечную привязанность и сохранил о нем лучшие мои воспоминания.

Потом мы бывали у Алексея Александровича Корзинкина. Жил он в своем доме на Покровском бульваре. У него собирались музыкальные художники и составлялись квартеты. Сам хозяин был артистическая натура, играл на скрипке и был другом Александра Николаевича по рыбной ловле (Александр Николаевич был в то время страстный рыболов и знал все подмосковные речки и ручейки). М. С. Щепкин бывал на корзинкинских собраниях каждый раз, рассказывал малороссийские анекдоты и читал стихи.

Бывали мы также у С. В. Перлова, у которого был свой оркестр, составленный из его приказчиков и мальчиков. Оркестр этот на тех же началах существует и поныне. Его поддерживает сын покойного Перлова, Василий Семенович.

Бывали на скромных интимных собраниях у К. Т. Солдатенкова, которые посещались художниками и профессорами Московского университета.

Бывали на вечерних беседах у А. И. Хлудова, составителя редчайшей в России староверческой библиотеки.

И много в то время было купеческих домов, двери которых широко отворялись для принятия с почетом всякой умственной и художественной силы.

Бывали и такие дома, которые «для сатирического ума» представляли обильный материал для наблюдения. Нарисую один.

Был богатый купец X. Большой дом у него был в одном из московских захолустий, старинный, барский, с колоннами, принадлежавший в конце прошлого столетия какому-то генерал-аншефу. Жил он по старым отеческим преданиям и капитал имел «темный», то есть никто не мог дать приблизительное предположение, какой у него капитал.

«Несчитанный, говорили, весь в сериях. И сам он, пожалуй, своего капиталу не знает».

Помещался он с сыном внизу, а бесчисленный женский пол ютился в верхнем этаже окнами в огромный заросший сад. Никто из обывателей живущего там жен-

ского люда не видал. Изредка отворятся вечно запертые ворота, вывезет толстый жеребец крытую пролетку, в кузов которой, как в узкий корсет, втиснуто необыкновенно толстое, почти бесформенное существо в черном платье, с покрытою черным платком головой. И если бы не виднеющийся из-под платка кусочек носа и часть отвислого подбородка, можно было подумать, что вывезли какую-нибудь кладь. Это выехала с а м а по направлению к Рогожскому кладбищу. Сам старик никогда свою единственную лошадь не беспокоил: ходил пешком или прииснивал такого рваного извозчика, на которого садятся только из крайней необходимости. Сын известен был в околотке как сын богатейшего купца. Он нигде не учился, ничего не делал, полавливал иногда в окрестных садах синиц и чижей да удил в Яузе рыбу. Вздумал было раз прочесть «Юрия Милославского», — семинарист один, товарищ по ловле синиц, посоветовал, — да при чтении очень сон одолевал, бросил: «Опять же, коли бы все настоящее было, а то все выдумки». По мере того как родитель приближался к оставлению «мирского мятежа и временной сея жизни», кругозор Ивана Гавриловича расширился: уже к его услугам стоял у трактира лихач-извозчик, уже он сидел по вечерам «под машиной» московского трактира, выслушивая мотив из «Роберта», «Аскольдовой могилы», «Вот на пути село большое» и других опер; уже он познал всю прелесть увеселительных притонов Дербеневки, Козихи и Доброй Слободки; уже он всем сердцем прилепился к цыганской пляске, к остроумию торбаниста, — одним словом, сделался вполне готовым по получении отцовского наследия мгновенно распуститься во всю ширь своей натуры. Сын он был почтительный и любил отца; его только беспокоила люстриновая сибирка с крючками да стесняли сапоги бутылями, обстановка, костюм, без которого, по мнению родителя, нельзя было достигнуть пути в царство небесное. Но вот в одну ночь раздается в доме плач и рыдание: старик скончался; жития его было шестьдесят девять лет три месяца и одиннадцать дней. Тучный прах его заключили в огромную дубовую колоду «ржевского дела», снесли на кладбище; нищую братию накормили и оделили деньгами. Шесть недель раздавались в доме заунывное женское пение и чтение псалтыря. Затем «время плачу и рыданию преста»: старухи удалились на два года в один из

керженских скитов и по возвращении оттуда не нашли в доме того благочестия, в каком они его оставили; даже выветрился тот специфический запах — смесь ладана, воска, деревянного масла, — который составлял его необходимую принадлежность. В зале, где под гнусавое пение начетчиц вызывались из груди вздохи, обращенные к древнего письма иконе, и «отбрасывались» по лестовке земные поклоны, ставились по вечерам ломберные столы, где пели демественные большие стихи из праздников и триодей «драгия вещи со всяким благочинием», — раздавалась ухарская песня певца Бантышева:

Ах, шли наши ребята
Из Нова-города.

Фимиам кадильный заменила «злосмрадная и богоненавистная воня, еже от травы выспрь прозябающей и наречется тая трава табака».

Иван Гаврилович уже оставил, по его словам, «невежество», то есть снял прежний костюм, хотя по его говору (оттеда, покеда) он совсем подходил к нему, — и оделся по-модному, завел коляску, позировать в которой учил его один из танцовщиков московского театра. С этим танцовщиком он никогда не разлучался. Кроме способности пить вино, какое угодно и в какое угодно время, быть готовым в «отъезд» (так назывались загородные кутежи) в Царицыно, в Марьину рощу и т. п. по первому требованию, он знал несколько фраз по-французски, хотя не мог поддерживать разговор, но мог сказать несколько выражений с большой развязностью. Этого было совершенно достаточно, чтобы пригласить француженку выпить стакан шампанского. К француженкам Иван Гаврилович чувствовал большое влечение за их, как он выражался, «нежность» и способность не мигнувши глазом осадить бутылку шампанского.

— Мадам, поставлено! — обращался он к ней, указывая на стакан. — Алеша, переведи, чтобы кушала.

— Madam, prenez [1], — переводил танцовщик.

— Ah, merci, monsieur! [2] — отвечала француженка, выпивая стакан залпом.

— Люблю! — восклицал Иван Гаврилович, поглаживая ее руку.

---

[1] Кушайте, сударыня *(франц.)*.
[2] Ах, благодарю, синьор! *(франц.)*

— Que ce qu'il dit? [1] — быстро справлялась француженка.

— J'aime [2], — переводил танцовщик.

— Et moi aussi! [3] — весело подпрыгнув, воскликнула француженка.

— Это насчет чего? — спрашивал Иван Гаврилович.

Переводчик не понял фразы и отвечал:

— Да уж хорошо! Помалкивай!

— Может, деньгами хочет попользоваться? Так можно немножко... три синеньких, ежели...

Когда же француженка начинала болтать, переводчик не терялся, а на вопрос Ивана Гавриловича: «Насчет чего говорит?» — отвечал без запинки:

— Шампанского еще просит.

— Вели подавать! — разрешал Иван Гаврилович.

Долго жил Иван Гаврилович в «этом направлении»: бессонные ночи, постоянные «засидки» и «отъезды» стали сокрушать его кованую натуру. Нечистая сила, так называемые чертики уже являлись ему в виде шмелей, жуков, раков; наконец в самый разгар Нижегородской ярмарки его в одном веселом притоне в Кунавине мгновенно обвил зеленый змий и обдержал его три дня.

— Веришь ли ты, — рассказывал он после, — змий, вот как на паперти, на «Страшном суде» нарисован, — зеленый братец ты мой!

Не с того ли времени идет поговорка: «Напиться до зеленого змия»?

Зеленый змий сильно подействовал на Ивана Гавриловича. Он одумался, или, по его выражению, «всем пренебрег», и, вспоминая минувшие дни, говорил:

— Ежели перелить по бутылкам все, что я выпил, можно бы погребок открыть и торговать в нем года три.

Старуха мать предлагала ему жениться и невесту нашла с «большими деньгами», но Иван Гаврилович рассудил так:

— Ежели, матушка, жениться мне из своего общества, так уж я с малых лет не на тот фасон себя определил; а ежели Матильду какую (Матильдами он называл женщин некупеческого круга) в наш дом пустить, так она

---

[1] Что он говорит? *(франц.)*
[2] Люблю *(франц.)*.
[3] И я тоже! *(франц.)*

порядков ваших не выдержит — уйдет. Лучше я поеду — посмотрю, как в чужих землях люди живут.

И, прихвативши еврейчика — студента в качестве переводчика, уехал за границу. Был в Египте, воздымался на пирамиды, восходил на Везувий, был в Риме, «кружился» (по его выражению) два месяца в Париже, «все там произошел», даже «полюбопытствовал, как одного разбойника казнили», и вернулся в Москву в широкой соломенной шляпе, красном галстуке, клетчатой жакетке и в необыкновенно узеньких брюках. Засмеялось захолустье, полетели во франта колкости и остроты от фабричных. Прошел даже слух, что его вызывал оберполицеймейстер Цынский и внушал ему, чтобы он не страмил своего роду и одевался бы как надо, а он не токма что не послушался, а напротив того — стал по Сокольникам верхом ездить. По смерти матери Ивану Гавриловичу окончательно никто не мешал жить, как его душе угодно. Все ютившиеся около самой в верхнем этаже старинного дома старицы, начетчицы и читалки отрясли прах от ног и разошлись питаться около других благодетелей. Да он и сам остепенился; ему опротивела дикая жизнь. И хотя по вечерам у него и собирались прежние бражники, но уже угощение бывало «на благородный манер». За ужином явилось menu, которое подавал гостям повар в белой куртке и колпаке. Всякий гость знал, что за ужином будет «шиврель с дикой козы», «судак овамблям» и т. п. Сам хозяин за стол не садился, а важно, в коротеньком пиджаке и белом жилете, расхаживал по столовой и распоряжался.

— Подай, братец, — обращался он к лакею, — на тот конец еще сексу. Ты видишь, что там бутылку разверстали, ну, и не задерживай.

Или:

— Иван Петров, обнеси, братец, шато-лафитом. Опосля говядины завсегда шато-лафит требуется.

В музыке Иван Гаврилович ничего не смыслил, но в доме у него иногда бывали квартеты, которые ему устраивал известный в то время в Москве скрипач И. К. Фришман и капельмейстер Сакс. Раз участники квартета сели ужинать за отдельным столом в гостиной. Во время ужина входит в столовую лакей и очень развязно говорит:

— Иван Гаврилович! Музыканты шампанского требуют: прикажете подавать?

Иван Гаврилович вскочил:

— Да разве это музыканты?! Что ты, одурел, что ли?.. По свадьбам, что ли, они играют?.. Дурак! На поминках тебе служить, а не в таких домах.

Местный полицеймейстер был другом Ивана Гавриловича, катался с ним часто в коляске и присутствовал у него на всех пирушках. Иван Гаврилович относился к нему с почтительной нежностью:

— Полковник, ты бы стаканчик выкушал.

Или:

— Господин полковник, вам за столом первое место, как вы есть начальник всей нашей окружности. Пожалуйте!

Штат-физик Гульковский был постоянным его доктором и прописывал ему целительные порошки, им самим изобретенные.

— Порошки эти целительные, — говорил он, — я их и в практике употребляю, и семейству своему даю, и сам принимаю, когда мне скучно, потому — целительные.

Из артистов у него бывали Садовский и Живокини. Уважение им было великое.

— Верите, Пров Михайлович, я плакал, — говорил Иван Гаврилович по поводу Любима Торцова. — Ей-богу, плакал! Как подумал я, что со всяким купцом это может случиться... страсть! Много у нас по городу их таких ходит, — ну, подашь ему, а чтобы это жалеть... А вас я пожалел именно, говорю. Думаю: господи, сам я этому подвержен был, ну, вдруг! Верьте богу, страшно стало. Дом у меня теперь пустой, один в нем существую, как перст. И чудится мне, что я уж и на паперти стою и руку протягиваю!.. Спасибо, голубчик! Многие, которые из наших, может, очувствуются. Я теперь, брат, ничего не пью, будет. Все выпил, что мне положено!.. Думаю так, — богадельню открыть... Которые теперича старики в Москве... много их... пущай греются. Вот именно мне эти ваши слова: «Как я жил, какие я дела выделывал!» Ну, честнóе мое слово — слезы у меня пошли.

А на богатого купца «из русских», Ивана Васильевича Н., Садовский в роли Тита Титыча так подействовал:

— Ну, Пров Михайлович, такое ты мне, московскому первой гильдии купцу Ивану Васильевичу Н-у уважение сделал, что в ноги я тебе должен кланяться. Как вышел ты, я так и ахнул! Да и говорю жене — увидишь, спро-

си ее, — смотри, я говорю: словно бы это я!.. Борода только у тебя покороче была. Ну, все как есть, вот когда я пьяный. Это, говорю, на меня критика. Даже стыдно стало. Ну, само собой, пьяный, и ударишь, кто под руку подвернется, и покричишь... Вот намедни в Московском трактире полового Гаврилу оттаскал, — две красненьких отдал. Да ты что! Сижу в ложе-то да кругом и озираюсь: не смотрят ли, думаю, на меня. Ей-богу!.. А уж как заговорил ты про тарантас, я так и покатился! У меня тоже у Макарья случай с тарантасом был...

И он рассказал, как он с Нижегородской ярмарки, возвращаясь в Москву, три дня не вылезал из тарантаса.

В доме Ивана Гаврилыча мы бывали часто. Фигура Ивана Гаврилыча была представительная: высокий, стройный, одетый безукоризненно; лицо важное, серые навыкате глаза, тщательно расчесанная на обе стороны борода... Ну, просто английский лорд, член парламента, когда молчит, а заговорит — так и отдает московским ткачом: «оттеда», «покеда», «коли ежели я, значит», «ежели я, например, теперича, так будем говорить», и прочее. Я один раз слышал, как он рассказывал о своем восхождении на пирамиду Хеопса.

— Три тысячи годов строили, пойми из этого!

— Много выше Ивана Великого? — спросил один собеседник.

— Какие твои пустые слова! Не то, что Иван Великий, а может... даже удивительно! Жара, братец ты мой!.. Ну, сейчас, этакие палки большие, чтобы, значит, ловчей было идти... Ну, Египет, братец ты мой, сам понимаешь! Только бедуин один подошел к нам, черной этакой; ежели в лесу где у нас такой попадется — в ногах у него наваляешься: пусти душу на покаяние. И глаза такие — сейчас зарежет... Подошел к нам, а с нами бутылочки три портеру было, на случай в Александрии взяли... Опять же, надо сказать, агличане эти там, как векши, по камням бегают...

И все в том же роде. Никаких впечатлений о пирамидах передать он не мог.

По субботам часть нашего кружка собиралась у Константина Александровича Булгакова, сына московского почт-директора, внука знаменитого Якова Ивановича Булгакова, екатерининского посла, который был заклю-

чен в Константинополе в Семибашенный замок. Константин Александрович был отставной гвардеец. В Петербурге ходили чуть не легенды о его шалостях, на которые тогдашнее начальство, даже сам великий князь Михаил Павлович, смотрели снисходительно. Я не буду о них рассказывать здесь, не буду поминать грехи его юности и неведения. Больной телом (он не мог ходить и передвигался по комнате в кресле на колесах), но бодрый и здоровый духом, отлично образованный, прекрасный рисовальщик, музыкант, без голосу обаятельно передававший суть страстных романсов Глинки, он заставлял любить и жалеть себя. Любить — за необыкновенно доброе сердце, жалеть — за растрату богом данных ему даров. В Петербурге по художественной части он принадлежал к обществу Брюллова, Глинки, Кукольника и Яненко, или, как он выражался, к обществу «невоздержных».

Он жил вместе со своим отцом в почтамте. Стены небольшого кабинета его были сплошь увешаны портретами бывших и настоящих его друзей; небольшое пианино, диван, стол и несколько стульев. Садовский посещал его чуть не каждый день, а Максин иногда пребывал у него от зари и до зари: придет, справится о здоровье и уйдет; потом опять появится, опять уйдет, — и так целый день.

Субботние посетители назывались «субботниками». Для них был заведен альбом, в котором они при поступлении в субботники собственноручно вписывали свои фамилии (у меня один альбом сохранился). Князь Петр Андреевич Вяземский значился в числе субботников. Проездом через Москву он бывал у Булгакова. М. Н. Лонгинов, остроумный Борис Алмазов, Рамазанов и Дюбюк были постоянными субботниками и оставили в альбоме много стихов. Каждый из субботников непременно должен был что-нибудь написать в альбом. Вечера были веселые. Живой, остроумный разговор, музыка, пение и застольные беседы, часто до утра. Нередко Михаил Семеныч Щепкин являлся сюда что-нибудь прочитать.

Большим утешением для общества служил Максин. Иногда он, среди оживленного разговора, вдруг задавал вопрос, совершенно не вытекающий из темы беседы. Например:

— Карл Францевич Рулье вчера в кофейной говорил, какой-то Фейербах написал замечательное сочинение, сколько я мог понять, против религий...

— Ну, а тебе что за дело? — спокойно заметил Булгаков.

— Странно, как цензура могла пропустить, — важно отвечал Максин.

— А вас религия, Петр Алексеич, интересует?

— И очень даже!

Прерванный разговор продолжался снова.

Во время музыки или чтения Максин становился в важную позу, делал серьезную мину и являл из себя вид знатока, прерывая иногда чтение замечанием.

Один раз собралось нас несколько человек у Булгакова в воскресенье утром. В этот день отец его был именинником. Мардарий (слуга Булгакова) докладывает, что у Александра Яковлевича сидит граф Закревский.

— А мне, черт его возьми! — отвечал Булгаков. — Не ко мне он, старый бз..., приехал.

Только что он произнес последнюю фразу, в дверях показался граф. Мы все вскочили, Максин прилип к стене, опустил руки по швам, вперил глаза в графа и замер... замер, как замирает воин во фронте, когда раздается команда «смирно».

Граф, едва заметным движением головы, ответил на наши почтительные поклоны.

— Здравствуйте, ваше сиятельство, — встретил его Булгаков, слегка двинувшись в кресле.

— Сиди, сиди, не беспокойся, — предупредил его граф, опуская свое тучное тело на подвинутый ему Мардарием стул.

— А ты все болен? — обратился граф.

— Напротив: очень здоров! — весело ответил Булгаков.

Визит продолжался не более трех минут. Граф посоветовал хозяину вести себя осторожно, слушаться наставления врачей — и встал. Булгаков снова ерзнул колесами кресел; граф опять попросил его не беспокоиться — и вышел.

— Однако я в первый раз имел счастье так близко видеть его сиятельство господина московского военного генерал-губернатора, — произнес Максин по уходе графа.

— Что же, тебе лучше стало? — засмеялся Булгаков.

— Не лучше, а все-таки... высшее правительственное лицо в государстве... и с бланками.

— С какими бланками?

— Бланки имеет. Один только генерал-губернатор во всей России их имеет.

— Зачем ему бланки? — загорячился Булгаков.

— А вот зачем, — внушительно и авторитетно отвечал Максин, — по этим бланкам он может в Сибирь сослать.

— Так он тебя и без бланков сошлет. Скажет: Петр Алексеевич, надоел ты всем в Москве, — ступай ко всем чертям! Ты и пойдешь...

— Ну, не говорите!

— Да и у Иверской есть такое заведение, так там без всяких бланков сошлют.

— Верно, сошлют! Но там с проволочкой. Судить будут, а этот подмахнет бланк — завтра ты уж на этапе. Мне один знакомый чиновник из управы благочиния сказывал, что недавно такой случай был...

Кончался вечер, сонный лакей Мардарий провожал гостей, и в «Субботник» заносятся следующие стихи (Б. Н. Алмазова):

У Щученко в доме,
В час заката звезд,
В память по Содоме
Был великий съезд.

Трезвый и степенный
Собирался люд.
Был тут Келль почтенный,
Максин и Шервуд,

Петя Безобразов,
И толстяк Борис,
И Борис Алмазов —
Все перепились.

Лонгинов Михайло
Капли не брал в рот,
Видно, он...
Потихоньку пьет...

А Алмазов Борька
И Садовский Пров
Водки самой горькой
Выпили полштоф.

Костя ключ от шкафа
Часто доставал
И изделья Яффа
Пил и одобрял.

Максин от коньяку
Вовсе не был пьян, —
Спиртового лаку
Требовал стакан...

Михаил Ефремыч,
Русский соловей,
Врачевал их немочь
Песенкой своей,

И под звуки арий,
Отягчен вином,
Между тем Мардарий
Спал глубоким сном.

Очень жаль, что стихи из «Субботника», как имеющие частный характер, не могут быть напечатаны, а есть прекрасные.

К осени Александр Николаевич окончил новую пьесу «Не так живи, как хочется» и прочел ее в первый раз Кружку у себя дома. Этот вечер останется мне памятен до конца моих дней. После чтения Пров Михайлович мне сказал, что получено из Петербурга разрешение дебютировать мне в его бенефис в пьесе М. Н. Владыкина «Образованность». Не только поступление на сцену, но и дебюты были тогда обставлены большими затруднениями, и если мне позволили дебютировать, то только во внимание к просьбе Прова Михайловича.

Я думаю, ни один дебютант не в состоянии отчетливо передать тех чувств, которые овладевают им при первом выходе на сцену. Какой-то особенный страх, рябит в глазах, руки делаются совершенно лишними, лучше когда бы их на этот раз не было. Все это я испытал в полной мере, несмотря на то, что роль знал, как «Отче наш», и готовил ее под руководством всего нашего Кружка.

— Что это у вас, милый человек, лихорадка, что ли? — подошла ко мне София Павловна Акимова, игравшая в пьесе мою мать. — Смелее, голубчик!

— Жутко, дружок! У нас с тобой тоже поджилки тряслись, — заметил С. В. Васильев. — С богом!

Александр Николаевич в самый момент выхода пожал мне руку и пожелал счастья.

Я на сцене. Действительно затряслись поджилки, задрожали губы... Трудно передать то ощущение, которое я испытал в этот вечер. Как юница, трепетно стоявшая

под венцом, не может в день своей золотой свадьбы передать подробности совершившегося над ней торжественного акта, а надо мной тоже совершился торжественный акт — я вступил в новую жизнь, неведомую мне сферу деятельности, о которой я никогда не мечтал и к которой не был приготовлен.

К дебютантам в то время публика относилась очень благосклонно; благосклонно отнеслась она и ко мне, вызвавши в продолжение пьесы пять раз. За кулисами меня приветствовали, но я чувствовал вполне свое ничтожество.

— Окунулся, дружок. Теперь плыви смело, — сказал мне С. В. Васильев.

— Поплывем, бог милостив! — сердечно улыбаясь, поддакнул Пров Михайлович.

Газетных отзывов дебютантам тогда нечего было бояться, да и газета-то была одна, которая почти не занималась театром, хоть и имела для экстренных отзывов репортера, князя Назарова. Князь был человек образованный и чистоплотный, не похожий на большинство современных репортеров, часто мешающих сценическим деятелям спокойному отношению к их обязанностям. Бояться тогда можно было строгих приговоров самих артистов.

В течение моей долгой службы в театре я неоднократно был свидетелем слез, истерик и нервного раздражения у своих товарок и товарищей, вызванных площадными ругательствами газетных репортеров, не имеющих за собою ни нравственного, ни образовательного ценза. Что ежели бы собрать воедино все то сквернословие, которому подвергался русский театр в продолжение четверти века в разных листках и газетах! Богатейший материал для будущей истории театра. Одно время отзывы о театре и его деятелях в одной газете доходили до бешенства и исступления ума. Начальника репертуара и жену его печатно называли взяточниками; актрисам придавали эпитеты «нюня, плакса, горничная»; про актеров и говорить нечего. На некоторых из них наложена была печать проклятия; других просто оскорбляли кучерской бранью. Наконец, первый русский театр был лишен своего почетного наименования «Императорский Александринский театр». Его стали называть печатно «казенным театром», или «Александринкой». Давай нам частные театры. Сна-

чала потихоньку, под клубными флагами, завелись эти театры, а потом последовало разрешение строить частные театры. Много недоучившихся мальчиков побросалось со школьных скамеек на зов клубной Мельпомены; много милых девиц вскочили на театральные подмостки...[1]

Появились лекции по драматическому искусству, руководства для изучения драматического искусства. Первое руководство предложил режиссер русского драматического театра Воронов — книжечку в два вершка длины и два миллиметра толщины. За ним последовали и другие, тоже руководства. Наконец, парикмахер от Пяти Углов обнародовал для актеров правила гримировки:

Даже ты, Варсонофий Петров,
Окол вывески «Делают гробы»
Изготовил железные скобы
И другие снаряды гробов[2].

И любопытно: отлично образованный, многоязычный, даровитый романист и публицист, драматический писатель, театральный критик — чего еще? Может ли он похвастаться хоть одним учеником (он имел свои драматические классы в Петербурге и Москве), про которых можно было бы сказать: «Вот актер и актриса — ученики Боборыкина» (не в отрицательном смысле)? Где ученики Воронова? (Он учил в театральном училище.) Я уже не говорю о тех учителях и руководителях, которые, порицая актера в роли Чацкого «на казенной сцене», сами играют ее в клубе и с лакейскими манерами, даже во фраке, в котором не вышел бы служитель к барскому столу, слуга Чацкого. Ведь эти учители существуют двадцать пять лет, — могли же они приготовить хоть одного, если не выдающегося, то хоть заметного деятеля драматического искусства.

Теперь образовались в Петербурге Драматическое общество, Общество любителей искусства. Давай им бог успеха!

«Новое время», 5, 12 февраля 1884 г.

---

[1] Народился новый анекдот: «Стоит за кулисами нянька и плачет. «— О чем ты плачешь?» — «Барышня пляшет: жалко. Из хорошего семейства...» — *И. Г.*

[2] Некрасова «Сатиры». — *И. Г.*

БЕЛАЯ ЗАЛА

В сороковых и пятидесятых годах текущего столетия сборным пунктом приезжавших в Москву провинциальных актеров была так называвшаяся Белая зала, в гостинице купца Барсова, на площади Большого театра. Собирались в ней актеры обыкновенно в течение великого поста, получали здесь ангажементы и расходились до следующего поста по всему лицу Российского государства. Редкий актер того времени, вступая на сцену, не переступал порога Белой залы.

Вот что мы помним, что мы видели в этой Белой зале.

На последних днях первой недели великого поста входит в залу солидный, высокий мужчина, лет шестидесяти, в черном, наглухо застегнутом сюртуке. Это «благородный отец» из Ярославля.

Половой Гаврила, страстный любитель театра и преданнейший слуга всех актеров, с особенною радостью встречает приезжего гостя.

— Давно изволили пожаловать в нашу столицу?

— Вчера, братец, утром. Был у Иверской. А сегодня к своему угоднику и покровителю зашел. Обласкал, заплакал.

— Кто же это, Тимофей Николаевич?

— Михаил Семенович... Кто же еще[1].

— Ах, а я и недомекнул... По зиме как-то уху у нас кушали, с каким-то профессором. Чудесный старик... добрый, обходительный... Я, говорит, сам крепостной был... понимаю ваше положение.

---

[1] Щепкин. — *И. Г.*

— После Павла Степановича[1] два угодника у нас осталось: Михаил Семенович да Пров Михайлович[2]. И к нему сейчас заходил: прилег, говорят, после обеда отдыхает. А у Сергея Васильевича[3] вчера был: сидит, на гитаре играет. Всех обошел... Живокини велел сегодня в Купеческий клуб приходить.

— А где изволили остановиться?

— В Челышах, братец, где же больше-то...

— На что лучше, самое центральное место.

«Челышевские номера» на площади Большого театра были обыкновенным пристанищем заезжих в Москву провинциальных артистов. Удушливый, спертый воздух, полный микробов, видимых невооруженным глазом, отсутствие каких-либо удобств, грязные неосвещенные коридоры, оборванная прислуга составляли специальность этого актерского приюта.

— А что, уж подъезжают наши? Слет еще не начинался?

— Не предвидится, вы первые. Чем прикажете просить?

— Дай мне, по обыкновению, графинчик доброго русского, белого, простого, очищенного вина да пирог в гривенник.

— Слушаю-с.

Вот вошли еще два артиста — один в клетчатом коротеньком пиджаке, в красном галстуке; другой — в полуфраке, с гладкими светлыми пуговицами, с тщательно завитыми волосами. Первый — комик из Тулы, второй — первый любовник из Курска. Комик начал с водки, любовник сел на коньяк.

На третьей неделе Белая зала была уже полна приезжими провинциальными сценическими деятелями. Съехались и антрепренеры: Борис Климыч из Орла, Смальков из Нижнего, Васька Смирнов из Ярославля, Григорьев из Тамбова, Херувимов из Екатеринбурга, Червончик из Тулы, директор симбирского театра — барин, проживший солидное состояние на любви к театру, Зверев из Севастополя и многие другие. Съехались они в Москву обновлять свои труппы, заказывать костюмы, парики

[1] Мочалов. — *И. Г.*
[2] Садовский. — *И. Г.*
[3] Васильев. — *И. Г.*

и т. п. Знаменитые того времени актеры все налицо: Милославский из Казани, Рыбаков из Харькова, Челикин из Тамбова, Медынцев из Вологды, Яковлев из Ростова-на-Дону, Кирилл Ермаков и другие. Юркие комики перебегают от стола к столу, любовники ведут беседу о московских портных, благородные отцы по своему солидному положению в репертуаре состоят при трагиках.

Вот один комик, сидевший за отдельным столом с директором симбирского театра, вдруг просиял — это он получил ангажемент, или на театральном жаргоне «кончил». (Получить ангажемент — значит «кончить». Я кончил в Казань, я кончил в Рыбинск и т. п.)

— В Симбирск? — спрашивает его один из товарищей.

— В Симбирск.

— Город хороший. Я там два сезона играл.

— Главное — дворянский, — поддакивает комик. — Настрадался уж я в Ярославле-то у Васьки Смирнова. Ты знаешь, он меня, с моим-то ростом, заставил раз Ляпунова играть.

— Что же, играл?

— Нет, жандармский полковник заступился. «Я, говорит, не позволю тебе безобразничать». А Юстиниана в «Велизарии» играл и вместо сандалий резиновые галоши надевал. То есть такой срам был — смерть! А ты посмотри, что это за антрепренер—барин, в Шевалдышевой гостинице остановился.

— А сколько?

— Семьдесят пять, два полубенефиса, парики его, две пары лаковых сапог, шляпа...

— Чего ж тебе еще!

— Ах, как я доволен! Гаврила, давай рябиновки. Губернатор, говорят, отличный человек; губернаторша почти и из театра не выходит; откупщик тоже барин, на благородных спектаклях Фамусова играет, за бенефис двадцать пять дает... То есть как я доволен!..

Трагик Хрисанф пререкается с одним из антрепренеров.

— Ну, какой ты антрепренер? Что ты понимаешь в великом искусстве? Ты буфет в театре держал! Ну что ты смыслишь?

Орловский антрепренер в тоске: он не может подыскать актера, который бы сыграл Любима Торцова в ко-

медии «Бедность не порок», только что в то время появившейся в репертуаре.

— В Коренной ярманке купец собирается со всего света, пьеса нравоучительная, купеческие пороки выведены в совершенстве... Хоть сам играй!

Ввязывается Смальков.

— Я в Нижнем ставил. Некрасов играл чудесно!

— Какой же он Любим Торцов? Он маленький, его от земли не видать!

— Толщину надевал, отлично играл.

— Я тоже в Рыбинске ставил, — вмешивается Смирнов.

— Это у себя в курятнике-то? — возражает Хрисанф. — Ты бы молчал лучше. Знаешь ли ты, что играть Любима Торцова...

— Что же в нем особенного? Обыкновенный пьяный купец...

— Особенного? Я с тобой и разговаривать не хочу! Да я с тебя полтораста Ляпуновых за этого пьяного купца не возьму. Ведь эту роль должен трагик играть, а он мальчишку нарядил. Понятие!

— У нас на юге эту пьесу не поймут, у нас в ходу больше помпезные пьесы, — вступает в разговор содержатель севастопольского театра.

— Подите вы с своим югом-то! У вас Гамлет в сцене с матерью с папироской вышел!

— Пьяный был, — заступается содержатель.

— А король Лир звезды с кавалерийского вальтрапа на себя надевает — тоже пьяный? Играйте вы там своих «Багдадских пирожников», «Принцев с хохлом, горбом и бельмом». Настоящий репертуар вам не по плечу. Да и многих он врасплох застал. Теперь не то! Теперь «Шире дорогу — Любим Торцов идет!» Налей мне, Петр Михайлович, рябиновки. Разозлил он меня! Вот ты, — обращаясь к молодому актеру, — первогодочек, только что начинаешь нашу скитальческую жизнь, вот ты знай, у кого ты будешь в лапах. Они все здесь, эти губители талантов. Закались заранее. Да что у тебя — страсть к театру или тебе жрать нечего?

— Страсть, Хрисанф Николаевич.

— Ну, коли страсть — выдержишь, а если из-за куска хлеба идешь — пропадешь. Кончил куда-нибудь?

— В Иркутск.

— Бывал там. Ты как приедешь, сходи к соборному протодьякону, отцу Иоанну — не знаю, жив ли он, — великий мне друг и приятель, превосходно оду «Бог» читал. Ты в нем найдешь второго отца и всю жизнь меня благодарить будешь. Явись к нему и скажи: от Хрисанфа — и довольно! Эх, Петр Михайлович! Тугие времена для театра приходят. Материки актеры стареют и умирают, столица их тоже подбирает, репертуар идет новый, молодые люди не занимаются, да не от кого и поучиться-то. Верь мне, скоро жид полезет на сцену. Вон сидит с Васькой Смирновым — это жид из аптеки, у аптекаря составлять мази учился, а теперь предстанет перед рыбинской публикой. Талантливый шельма! Вчера Васька в Челышах его экзаменовал — по-собачьи он ему лаял, ворону представлял, две арии на губах просвистел... Не знаю, как говорить будет, а эти жидовские штуки делает чудесно! Купцы в Рыбинске затаскают его по трактирам. В Ирбитской такому тоже молодцу один шуйский купец шубу соболью подарил. Сидит, бывало, компания, и он с ними. Пьют. Придет ему фантазия: «Ты бы, Абрамчик, полаял маленько, видишь, компания скучать начинает». Тот и начнет, ну, и долаялся до шубы. Раз спросили его, как это ему бог такой талант открыл? В остроге, говорит. Сидел он в остроге в секретной камере. От скуки, говорит, стал по вечерам прислушиваться к собачьему лаю, стал подражать и достиг в этом искусстве до совершенства. От собаки не отличить. Поверь мне, милый человек, Петр Михайлович, я-то уж не доживу, а ты увидишь — скоро актеры на сцене будут по-собачьи лаять и пьесы такие для них писать будут.

Смесь водки с коньяком, лиссабонским, гобарзаком и другими жидкостями, расстроила нервы Хрисанфа: он впал в меланхолию.

— Ступай, милушка, ступай на этот узкий путь, — говорил он только что начинающему актеру, поглаживая его по голове.

— Хочу попробовать, Хрисанф Николаевич.

— Это, брат, дело не пробуют. В это дело как окунешься, так на дно и пойдешь — уж не выплывешь. Тебе который год?

— Девятнадцатый.

— В тебе искорка есть, я это по глазам твоим вижу. Ты знаешь, где скрывается талант у актера?

— Где-с?

— В глазах! Посмотри когда-нибудь в глаза Садовскому! А у Мочалова какие глаза-то были! Я имел счастье играть с этим великим человеком в Воронеже. Он играл Гамлета, а я — Гильденштерна.

— «Сыграй мне что-нибудь».

— «Я не умею, принц».

Он уставил на меня глаза — все существо мое перевернулось. Лихорадка по всему телу пробежала. Как кончил я сцену — не помню. Вышел за кулисы — меня не узнали.

— «Ты хочешь играть на душе моей, а не можешь сыграть на простой дудке».

Губы у Хрисанфа затряслись, и хлынули из глаз слезы.

— Это был гений!

— А говорят, Каратыгин выше его был.

— Ростом выше. Каратыгин! Конечно, талантливее всех нас, грешных, но до Мочалова ему гораздо дальше, чем нам до него. Царство тебе небесное, великий артист!

Хрисанф перекрестился и, немного подумав:

— Ну, бог тебя благословит! Может, посчастливится, будешь знаменитым актером, меня уж, разумеется, тогда не будет, так ты меня тогда вспомни. Да, путь наш узкий, милый человек, и много на нем погибло хороших людей. Мельпомена-то бывает бессердечна: выведет тебя на сцену в плаще Гамлета, а сведет с нее четвертым казаком в «Скопине-Шуйском». Старайся! Не свернись! Вышел на сцену — забудь весь мир! Ты служишь великому искусству! Если ты понимаешь, что я тебе говорю, то продерешься чрез эту чупыгу, через наш узкий путь, — окончил Хрисанф, восторженно хлопнув ладонью по столу.

Узкий путь! Им начинается история нашего театра. Впервые вступили на него праотцы наши драматические художники — подьячишка Васька Мешалкин с товарищи. «По твоему великого государя указу, — вопят они царю Алексею Михайловичу, — отослали нас, холопей твоих, в Немецкую слободу для изучения комидийного дела к магистру Ягану Готфрету, а твоего великого государя жалованья корму нам, холопем твоим, ничего не учинено, и ныне мы, холопи твои, по вся дни ходя к нему, магистру, и учася у него, платьишком ободрались и сапожейками обносились, а пить-есть нечего, и помираем мы, хо-

лопи твои, голодною смертию. Пожалуй нас, холопей своих: вели, государь, нам свое великого государя жалованье на пропитание поденной корм учинить, чтоб нам, холопем твоим, будучи у того комидийного дела, голодною смертию не умереть»[1]. Этим путем, при полном нравственном угнетении, достигал своего величия слава и гордость русской сцены — Щепкин[2]. Этот путь прошел Садовский, разыгрывая в Лебедяни перед пьяным трактирщиком пьесу за порцию щей и кусок говядины[3]. На этом пути страдала знаменитая драматическая художница Косицкая, пока судьба не доставила ей случая поцеловать ручку директора театров Гедеонова[4].

Хрисанф был прекрасный человек и прекрасный актер-трагик. Он имел слабость корчить из себя отставного военного человека: носил усы, вытягивал вперед грудь, ходил военной поступью, в разговоре намекал, что он принадлежал к военному сословию, хотя по генеалогии своей он к этому сословию не принадлежал, а только родился в Бобруйской крепости, от комиссариатского чиновника, и детство провел среди военного элемента. Боковые ложи театра он называл флангами, средние и раек — центром, суфлерскую будку — амбразурой и т. д.

Он был поэт в душе и в возбужденном состоянии так правдоподобно рассказывал небывалые с ним происшествия, что все его заслушивались. Он рассказывал, что дед его чуть не взял в плен Наполеона; что он на льдине, во время ледохода, проплыл от Симбирска до Самары; что на Волге, в Жигулях, отстреливался от разбойников и двоих убил и т. п. Обыкновенно скромный относительно своих сценических дарований, в возбужденном состоянии он начинал хвастаться.

— Вот какой со мной был случай, — начинал он. — Приехал я в Нижний, вышел в первый раз в своей коронной роли, в Гамлете. Ну, что тут говорить! Левый и правый фланг — битком. Центр — голова на голове; смотрю в амбразуру — частный пристав с Митькой-суфлером жену свою посадил. Только показался — залп со всех

[1] *П. О. Морозов.* История русского театра, стр. 138. — *И. Г.*

[2] «Записки Щепкина». — *И. Г.*

[3] «Биография Садовского», «Русский вестник» № 7, 1872 г., стр. 435. — *И. Г.*

[4] «Записки Косицкой», «Русская старина», 1878 г., кн. I, II, IV. — *И. Г.*

батарей... и пошло, и пошло!.. Офелию мне дали какого-то заморыша, хоть и с огоньком девка, вице-губернатора потом где-то так смазала... Прямо из губернского правления под венец свела. Как я своим шепотком-то здесь шепчу, а в Таганке слышно:

— «Удались от людей!»

Офелия моя скорчилась, дрожит, побледнела... В театре шум... Жену соляного пристава вынесли... А уж как: «Оленя ранили стрелой!» — губернатор высунулся из ложи и замер, полицеймейстер, кажется, уж по должности своей каменный человек — ревет; Митька в амбразуре книжку бросил и держит за плечи жену частного пристава; а публика... ужас! Чувствую — у меня-то у самого волосы на голове подымаются. Слава богу, кончил! Во второй спектакль я доложил графиню «Клару д'Обервиль», в третий — «Велизарий», отбою нет от публики. После пятого спектакля узнаю, что во время Макарьевской ярманки я буду атакован: в тылу у меня Михаил Семенович Щепкин, он в то время в Казани был, а с флангу надвигается из Москвы Мочалов... Ну, думаю, с двумя, пожалуй, не сладишь. Я к Архипу Ивановичу: «Разойдемся»,— говорю. «Нет, говорит, Павел Степанович отказался: «У вас, говорит, там Хрисанф, что я с этим чертом буду делать. Не поеду. Кланяйтесь ему от Павла». Отступил без выстрела!

До шестой недели великого поста сделки у содержателей театров с актерами все продолжались. Зверев накупил на Ильинке подержанных шляп и лаковых сапог для любовников, заказал полдюжины комических париков, ангажировал двух комиков. Борис Климыч «нанял» на Коренную ярмарку тамбовского трагика, сманил у Смалькова первого любовника и у Смирнова—комическую старуху, а Смальков перебил у него жидка, лающего по-собачьи. Другие содержатели тоже пополнили и изменили свои труппы. Кирилл Ермаков, с открытием навигаций, должен отплыть по Волге в Астрахань; Яковлев «кончил» в Нижний и, прощаясь с товарищами, восторженно говорил: «Давно я лелеял мысль сыграть Минина на месте его родины. Там я изучу кремль, Соборную площадь, на которой он говорил с народом, и может, бог поможет

показать Минина как следует. Игрывали! Не знаю! Сам[1] хвалил когда-то, даже говорил: готовься ко мне в преемники!» Медынцев тронулся в Кострому с предположением выступить для первого дебюта в роли Ивана Сусанина в драме «Костромские леса». На первых любовников был спрос большой, и приехавшие все почти ангажированы; со вторыми любовниками была заминка. С комиками к концу поста стало тихо. Этим воспользовались Смирнов и Червончик, и они пошли за бесценок: один комик Лилеев-Обносков с своими париками пошел к Червончику за двадцать рублей и одну четверть бенефиса. Остался без приглашения один первый любовник Райский за слишком невыгодные предложения, которые он делал содержателям театров. По изящному костюму — он постоянно ходил во фраке и брюках с лампасами, — по манерам и круто завитым волосам он резко выделялся из массы актеров, посещавших Белую залу. Когда он скрепя сердце обратился с предложением к Борису Климычу, которого он ненавидел и презирал за его грубость и невежество, тот сказал ему: «Нам попроще надо». Никакие убеждения, что он играет роль Чацкого не так, как другие играют, — последний монолог:

Не образумлюсь, виноват!

весь, от начала до конца, как глубоко оскорбленный человек, говорит адским шепотом и, нервно вскрикнув:

Карету мне, карету!

в дверях падает; что на роль Хлестакова он смотрит совсем не так, как другие, — в его исполнении Хлестаков является изнеженным и избалованным баричем, что он встречает Городничего в голубом шелковом халате, а не в жакетке; показывал адресы, поднесенные ему разными городами с выражением благодарности за доставленные восторги, за высокое художественное наслаждение в течение сезона; показывал серебряный портсигар, полученный от купцов в Ельце; показывал перстень с жемчужиной, на футляре которого вытиснено золотыми буквами: «Артисту Райскому слеза за пролитые слезы от благодарной публики», — ничего не помогло. Борис Климыч, дуя в блюдечко с чаем, говорил одно: «Не требуется, напрасно вы только себя беспокоите».

---

[1] Так он называл трагика Каратыгина. — *И. Г.*

Как делались соглашения с актрисами, — неизвестно, потому что договоры с ними содержателей театров происходили в Челышах. В конце поста делалось известным, что такая-то — в Полтаву, такая-то — в Курск; Червончик говорил, что он пригласил актрису на роли grande-dame[1], с французскими фразами; Смальков — двух «субреток», из которых одна с танцами, а другая «с голосенком», может играть «Материнское благословение». Борис Климыч пригласил еще «бытовую старуху» и «молодого актерика на комильфотные роли». Актеры Выходцев и Завидов решили отправиться на свой страх, без приглашения, первый — в Аккерман, второй — в Рыбинск. Белая зала все пустела и пустела. Заходили только несчастные суфлеры, самые необходимые и самые горькие и многострадательные люди в труппе, да актер Райский. Сначала он ходил «при часах и при цепочке», потом при одних часах, без цепочки, потом совсем без часов, наконец и жемчужная слеза его скатилась где-то на Грачевке, в витрину Абрама Моисеевича Левинсона.

— Фортуны вам нет, Иван Степанович, — говорил ему Гаврила, — которые вот даже пьющие, все по местам разошлись, а от вас мы, окромя благородных поступков, ничего не видали, а вы без места остались.

— Ничего, Гаврила, выдержим!

— Вот этот хохлатенький-то, в клетчатом сертучке, по-собачьи-то лаял, за семь пирогов не заплатил... слопать-то слопал, а денег не заплатил... Буфетчик с меня вычел.

— Сколько?

— Семь гривен да три подливки особенно, по гривеннику, — рубль.

— А ты зачем подавал?

— Помилуйте, как же! Приходит человек с полным аппетитом, говорит, давай! Скушает — за мной!

— Деньги небольшие. Вероятно, он забыл. На, получи. Я плачу за него. Все-таки он товарищ мне по искусству.

— Именно как вы есть благороднейший человек, хоша и сами в стесненном положении... Покорнейше благодарим... человек я бедный...

---

[1] Светская женщина *(франц.)*.

— Поправимся... Прощай. Я, братец, никогда не унывал!

— Это уж последнее дело. Надо стараться, чтобы все в лучшем виде... — окончил Гаврила, провожая гостя до лестницы.

Дела Райского после святой недели действительно поправились... Он доплелся кое-как до Харькова, втерся за ничтожную плату в театр, сошелся со студентами тамошнего университета, стал посещать их беседы, на которых ему открылся совершенно новый мир. Молодые люди разъяснили ему, что такое Чацкий, что такое Хлестаков и вообще что такое драматическое искусство.

— Ну, скажите, пожалуйста, — наставлял его один студент, — зачем вы в Чацком кричите монологи до самозабвения, даже до одурения?

— Для эфекту, — робко возражал Райский.

— Разве сценический эффект в неистовом крике? А зачем вы пропускаете знаки препинания в монологах? Впрочем, вообще знаки препинания для вас больное место. Не дальше как вчера, в сцене у фонтана с Мариной Мнишек вам нужно было сказать:

Царевич я. Довольно! Стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться...

А вы прокричали:

Царевич я. Довольно стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться.

«Довольно стыдно мне» не может сказать царевич: это фраза гостинодворца.

— И мне позвольте вам заметить, — вмешивается другой студент. — Зачем вы во всех ролях выходите с завитыми волосами: Чацкий у вас завитой, Хлестаков — завитой, Скопин-Шуйский — завитой, Самозванец — завитой...

— А вот это уж совсем не хорошо талантливому артисту, — заключает молодой адъюнкт-профессор, — играя Полония в «Гамлете», вы надеваете красную куртку с гусарским шитьем, накидываете сверху синий плащ, подбитый красным, в виде мантии, на голове у вас голубая ермолка с зеленой кисточкой, а на ногах ботфорты. Это ужасно нехорошо, неестественно и неверно.

— Ну, так что же, господа, — восклицал уничтоженный Райский, — научите меня, как надо играть.

— Научить вас, как *надо* играть, — мы не можем, а вот, как *не надо* играть, — можем, — отвечал адъюнкт.

Возвращаясь домой, Райский предавался унынию, плакал, сознавал свое бессилие и на другой день опять шел на беседу к студентам. Беседы эти сильно подействовали на его впечатлительную натуру: он стал слушать советы, стал совершенствоваться. Немалую тоже услугу ему оказал один богатый харьковский помещик, страстный театрал, гордившийся личным знакомством с французским актером Алан, не признававший Гоголя и Островского, предпочитавший им Кукольника и Полевого и преклонявшийся пред величием трагика Каратыгина, которого он называл «генерал-адъютантом в искусстве». Сидя в театре, высказывал резко свои суждения о пьесе и об игре актеров вслух, во время действия. Например:

— Пора спускать занавес — ничего не выходит.

Или:

— Вот так Офелия! Это кислота какая-то...

Про актеров:

— Если бы мой крепостной человек, я бы его... и т. д.

Актеры не обращали на его выходки внимания, потому он был добрейший человек и необыкновенный хлебосол. Драматические деятели находили у него роскошный обед без всякого приглашения.

— Очень рад, — встречал он гостя, — у меня сегодня суп из хвостов, севрюга малосольная, спаржа приехала, да каплун с трюфелями... Не знаю, будете ли сыты? А вы вчера, мой дражайший, прескверно играли. Извините! А уж как этот играл... ваш товарищ... Как его фамилия?

— Рубцов...

— Если бы он был мой крепостной человек, я бы ему таких рубцов... Черт знает что!

В это время входит Рубцов.

— А, здравствуйте! Мы вас, дражайший, браним. Вы вчера были отвратительны до невозможности! Если бы были мой... Помилуйте, так нельзя. Во втором действии монолог отлично прочитали... Хвалю!..

— Ваше превосходительство, это роль-то...

— Не оправдание! Гете сказал: нет дурных ролей. Не оправдание! Мне покойный Алан говорил... вы понимаете по-французски?

— Нет, ваше превосходительство...

— Жалко! Он мне говорил...

Разговор перебивает вошедшая актриса.

— Ах, Марья Ивановна, позвольте поцеловать вашу ручку. Вы вчера заставили меня плакать. Если бы проезжала через Харьков Арну-Плесси...

— Что вы, ваше превосходительство...

— Нет уж, извините, я даром не хвалю. Вот они оба играли вчера скверно — я сказал прямо, что скверно.

За столом его всегда можно было встретить двух-трех человек из предержащих властей, несколько проезжих через Харьков помещиков, актрис, актеров и непременного гостя всех обедов, отставного пехотного майора Нестеренко, который не признавал никаких вин, кроме водки, и пил ее в неограниченном количестве. В его диалоге были только три фразы: когда хозяин приглашал к водке, он говорил: «Сердечная моя признательность вашему превосходительству»; вторая: «Совершенно верно изволите говорить, ваше превосходительство», и третья: «Нда-с! об этом надо подумать».

После обеда гостеприимный хозяин, pour la bonne bouche [1], приглашал гостей в кабинет, где ставились ликеры, шампанское, зельтерская вода, фрукты и т. п., и прочитывал что-либо из драматических произведений Кукольника или Полевого. Власти, нагипнотизированные уже прежде чтением хозяина, поспешно удалялись; оставались только помещики, несчастные актеры и майор Нестеренко.

Вводя всех в кабинет, почтенный любитель драматического искусства говорил:

— Ну-с, господа, теперь позвольте мне, старику, показать вам свое искусство. Мы ведь не учились ему, а только потерлись около моего друга Алан, около Каратыгина — Мочалова не признаю, хоть и знаком с ним был, — и кое-что от драматических вельмож позаимствовали. Я вам сегодня прочту несколько сцен из «Скопина-Шуйского» Нестора Васильевича Кукольника... На днях будет произведен в действительные статские советники... и давно пора... Патриот-поэт! Петька!

Входит маленький слуга-казачок.

— Принеси мне маленький кинжал...

---

[1] На закуску *(франц.)*.

Весьма важный аксессуар в сцене Ляпунова с Екатериной.

Петька приносил небольшой кинжал. Все усаживались по местам; майор не садился — слушал стоя, заложивши палец за пуговицу военного сюртука.

— Ну-с, я готов. Прочту сцену юродивого с Екатериной.

— «Здравствуй, Катерина, пока господь дает тебе здоровье», — начинал он протяжным, заунывным голосом, от звуков которого, по третьему стиху, испустила пискливую ноту лежавшая под диваном собака.

— Петька! Сколько раз я тебе говорил, чтобы кобеля убирать. Запорю! Ужасно нервный кобель... Извините...

Здравствуй, Катерина, пока господь дает тебе здоровье,
И веселись, пока с тобой веселье...
Но придет час, его же знает небо,
Восплачется весь мир и сердце наше богу обнажится.

Какие превосходные стихи!

— Совершенно верно изволите говорить, ваше превосходительство.

В середине длинного монолога чтец с неудовольствием обратился к одному из слушавших помещиков:

— Петр Мироныч, ты бы шел в сад. Ты привык у себя на хуторе после обеда отдыхать.

— Я ничего, ваше превосходительство.

— Как ничего? Храпишь!..

— Это вам так показалось. Я слушаю с великим удовольствием.

Дойдя до сцены Ляпунова с Екатериной, он вскакивал со стула, бросал книгу, схватывал кинжал и кричал, подражая трагику Каратыгину:

Пей под ножом Прокопа Ляпунова,
Пей под анафему святого царства!..

— И эти стихи какой-то Островский вложил в уста пьяному купцу в своей комедии. И как это просмотрело третье отделение? Недоумеваю! Пьяному купцу, которых мы встречаем около винного погреба Костюрина. Я, разумеется, написал об этом в Петербург.

После чтения пили шампанское и шла беседа о драматическом искусстве. Говорил один хозяин.

— Вот если вы мне сделаете честь, пожалуете ко мне в четверг, я вам прочту «Горе от ума» и расскажу вам кое-что, чего вы не слыхали. Вероятно, вы не знаете, что Фамусов списан с моего дяди, Филат Матвеича, известного декабриста... Конечно, это между нами... А Репетилов... ну, да это до четверга.

Истомленные чтением гости, выпивши по нескольку бокалов шампанского, расходились.

Вот к этому-то учителю и попал Райский. Мучил он его чуть не каждодневно, в продолжение целого сезона, закармливал его роскошными обедами, называл его своим дорогим учеником, делал ему подарки и, окончательно научив его, как играть не надо, вселил в него полное отвращение к его прежним сценическим приемам. Райский сделался отличным актером.

После святой недели драматических художников больше не было видно в Белой зале; все они двигались по предназначенным им пунктам: кто плыл по Волге, кто переваливал Уральский хребет, кто кочевал в степи, направляясь к южным городам, кто стремился к берегам Азовского и Черного морей, кого забрасывала судьба на конечный пункт Российского государства — на устье Северной Двины. И все это двигалось, совершая как бы предопределение. Ничто не останавливало: ни дальность пути, ни скудость средств при передвижении, ни перспектива разных сценических неудач — равнодушие публики, которую актеру часто приходится смешить «сквозь незримые ей слезы», и других случайностей. Вперед, в храм славы, в храм искусства, в храм восторгов и самообольщения, в храм злобы и зависти! Вперед, в мир сплетен, в мир нескончаемых интриг, в мир озлобленного самолюбия и коварства!

Теперь уже не существует Белой залы, не существует и прежних актеров; актеры новой формации собираются в ресторане «Ливорно», о котором впереди будет мое слово.

«Новое время», 14 марта 1890 г.

ПЕРЕД ЛИЦОМ ГРАФА ЗАКРЕВСКОГО

(Из моей автобиографии)

Во дни оны...

Это было в 1857 году. Давать в то время великим постом публичные литературные вечера не позволялось, хотя первенствующие тогда артисты М. С. Щепкин и К. Н. Полтавцев почитывали в зале Купеческого клуба, но без афиш; да и при выборе пьес для чтения комический элемент изгоняли. Так, Щепкин читал из «Полтавы» Пушкина, Полтавцев «Клермонтский собор» Майкова и т. п., даже нагольный комик-буф В. И. Живокини, и тот должен был читать «Светлану» Жуковского, что выходило, помимо его воли, ужасно смешно.

В Москве гостил знаменитый французский комик Левассер, давал он представления в Малом театре. Графиня Л. А. Нессельроде, дочь графа А. А. Закревского, пригласила меня на один из своих интимных вечеров, на котором был и Левассер. Репертуар моих рассказов был в то время очень не велик, и выступать на турнир с Левассером мне казалось страшным. П. М. Садовский, флегматически понюхав табаку, ободрил меня: «Ничего-с, Иван Федорович, валяйте смело! Граф, если он там будет, так он этого Левассера и не поймет... А вы ему изобразите квартального (сцена в канцелярии квартального надзирателя, первый по времени мой рассказ), и чудесно будет!.. Очень доволен останется».

В назначенный час я вошел в гостиную графини и был ей представлен М. П. Лярским, блестящим гвардейским полковником.

— Очень рада, — сказала мне графиня. — Вы его слышали?

— Слышал в Петербурге.

— Я очень рада!.. Он прекрасно!.. Он сейчас будет bon homme[1] петь... А вы поете?

— Нет.

Живая, бойкая, молодая, веселая графиня Лидия Арсеньевна засыпала меня вопросами и представила меня своей графине-матери, которая приветствовала меня с величайшей любезностью.

— Много я слышала об вас, батюшка, — сказала она, — жалко, что граф не может быть сегодня, ну, да вы после доставите ему удовольствие вас слышать.

Мысленно я огорчился, что граф был в отсутствии. Мне очень хотелось поближе посмотреть сподвижника Александра Благословенного, покрытого

Славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.

Цвет московского высшего общества занимал гостиную графини. Все находились под впечатлением левассеровских куплетов. Левассер исполнял их превосходно, и грим был необыкновенный, чему немало способствовала подвижность его личных мускулов. Он оставил у нас по себе много подражателей, был, так сказать, насадителем у нас куплета.

Из мужчин первенствовали в гостиной графини М. Н. Лонгинов, А. Л. Потапов, тогда флигель-адъютант, и Б. М. Маркевич, камер-юнкер.

Отворилась дверь из соседней с гостиною комнатой, вышел с сияющей улыбкой Маркевич, а за ним Левассер, загримированный старичком, в камлотовой шинели, в кругленькой шляпе, под зонтиком, это — bon homme. Сдержанный хохот раздался в гостиной.

Левассер имел полный успех. Восторгу не было конца. Наступила моя очередь. Неуклюже и застенчиво вышел я на средину гостиной и начал рассказывать. М. Н. Лонгинов передал Левассеру по-французски суть моих рассказов. Я тоже имел успех. Особенно рассказы мои понравились графине-матери.

— От души я, батюшка, посмеялась, — сказала она мне при прощанье, — француз хорош, а вы лучше...

---

[1] Простак *(франц.)*.

Угрюмый А. Л. Потапов вторил графине, Лонгинов наговорил мне много любезностей, а Маркевич прочитал мне поучение.

— Та среда, — говорил он, — из которой вы берете ваши рассказы, для гостиной не годится. Заметили вы, — Левассера все поняли, а вас нет, хотя вы очень хорошо передаете. Согласитесь сами: например, княгиня Щербатова никогда не бывала в канцелярии квартального надзирателя... Какой ей интерес в вашем рассказе? Вы в Петербурге сделались салонным рассказчиком и в Москве вам предстоит то же... Я слышал, что вас хотят приглашать многие. Мы с вами поговорим. Я вам подскажу, что нужно для гостиной. Вам нельзя идти на хвосте у Островского — он свою песню спел... Вам нужно... Мы с вами поговорим... Отчего вы не обратитесь к Тарновскому (переводчику водевилей)? Он для вас напишет, наконец — я вам напишу... Мы поговорим...

Левассер так взглянул на мои рассказы: он сравнил меня со своим соотечественником Henry Monnier и сказал, что если он моих рассказов не понял, то прочувствовал, и, крепко пожавши мою руку, назвал меня camarad'ом.

Графиня Нессельроде спросила меня, отчего я не прочту своих рассказов в Малом театре.

Я отвечал, что это постом запрещено.

— А как же Левассер?

— Иностранцам позволено.

— Какой вздор! Граф вам разрешит. Я ему скажу.

На другой день я получил записку, которую прочитав, выразумел, что я должен явиться к графу Закревскому в восемь часов утра, и не с главного подъезда, а со двора.

По узкой лестнице взобрался я во второй этаж и очутился в длинной передней. Передняя проявляла кипучую деятельность. Несколько пар сапог со шпорами отражали от себя ослепительный блеск, а одна пара готовилась к восприятию блеска. Казачок-лакей смазывал ее ваксой, ходил по ней густой щеткой, дышал на нее и т. п. Сюртук с густыми белыми эполетами гордо распростерся на длинной вешалке, около него стоял длинный лакей с веником. На диване сидел в вицмундире чиновник со Станиславом на шее, рядом с ним какой-то купец.

— Что вам угодно? — спросил меня толстенький старичок в сюртуке и белом жилете.

— Мне нужно к графу...

— По какому делу?

— Графу известно, что я к нему приду.

— Этого невозможно! — возразил старичок, осматривая меня с ног до головы. — Если прошение какое...

— Нет, вы просто доложите. — Я назвал свою фамилию.

— Все это я очень хорошо понимаю и фамилию вашу мне сказать не трудно, но только этого никак нельзя. Иван Дмитриевич, — обратился он к чиновнику, — объясните им.

Чиновник посмотрел на меня в упор.

— У вас, может, письмо есть?

— Нет.

— Трудно!

— Да вы отчего же сказать не хотите? — спросил меня снова старичок.

— Может, живописец, — процедил сквозь зубы лакей, стоявший у мундира.

Несколько секунд раздумья.

— Извольте, я доложу, только бы... чего не случилось. Извольте снять пальто.

Я снял. Веник ерзал по мундиру, щетка сверкала по сапогу. Чиновник пристально смотрел на дверь, в которую ушел старичок.

— Пожалуйте! — послышалось из двери, но уже тоном ласковым. — Пожалуйте! Граф сейчас выйдет.

Мы вошли в обширную комнату, в которой стояло два огромных письменных стола.

— Вот вы обождите здесь, — заговорил старичок шепотом. — Граф вон оттуда выйдет... Вы ему и доложите все, что вам нужно. Он добрейший человек и любит, чтоб с ним смело говорили.

В дверях показалась в халате крупная, важная, плешивая, величавая фигура графа Закревского.

— Здравствуй! — сказал он резким хрипловатым голосом.

Я почтительно поклонился.

— Да ты совсем молодой... Ты мальчик... Очень рад для тебя сделать все... Мне графиня об тебе говорила. Садись. Что тебе нужно?

Я изложил свою просьбу, что желаю прочесть свои рассказы перед публикой.

— Хорошо. Подожди здесь. Придет Федор Петрович, он тебя устроит[1].

С этими словами граф вышел и воротился через полчаса в сюртуке без эполет. Вслед за ним вошел Федор Петрович.

— Вот, Федор Петрович, в чем его просьба. Он просит...

— Мне графиня говорила, ваше сиятельство... Я думаю, можно в частной зале, а не в театре... Ведь это решительно все равно... Графиня уж и зало нашла.

— Прекрасно. Только ты, — обратился он ко мне, — съезди к Верстовскому (управляющему московских театров) и скажи ему, что я согласен.

Маститый маэстро Верстовский изъявил полное свое согласие и пожалел, что он не может дозволить в театре.

Первый мой литературный вечер дан был на Тверской, в зале А. А. Волкова. Вся московская знать почтила меня своим присутствием.

На другой день я был приглашен к графу на вечер, на котором должен был участвовать Левассер и М. С. Щепкин. Вечер был блестящий. Михаил Семенович с чувством и одушевлением прочел стихотворение Пушкина «Полководец» и произвел на участников двенадцатого года сильное впечатление. Старец-комендант Стааль прослезился. Левассер понравился барыням и молодому поколению. Антракт. Подали мороженое. Граф подозвал меня к себе и шутливо-повелительным тоном произнес: «Зарежь его!» (то есть Левассера). Я вышел на эстраду и имел большой успех, даже удостоился рукопожатия от графа и от древнего старика Стааля.

— Ведь он наш, Михаил Семенович, здешний... московский, — обратился граф к Щепкину.

Михаил Семенович прослезился и поцеловал меня в лоб.

После 1881 г.

---

[1] Ф. П. Корнилов, член Государственного совета, в то время был правителем канцелярии московского генерал-губернатора. — *И. Г.*

НЕПОДРАЖАЕМЫЙ РАССКАЗЧИК

«Кажинный раз на этом месте...» Немногие знают, что эти крылатые слова впервые произнес прославленный рассказчик Иван Федорович Горбунов.

Крестьянский сын из подмосковного фабричного села Ивантеевка, «из-за стесненных средств» покинувший третий класс гимназии, Горбунов занимается перепиской, дает уроки в небогатых купеческих домах Замоскворечья. Он наблюдает быт и нравы московского захолустья, жадно вслушивается в удивительные извивы образной русской речи, почти ежедневно посещает дешевый раек Малого театра.

Москва 1849 года... Никому не известный юноша Горбунов каллиграфическим почерком переписывает никому почти не известную комедию «Банкрот». Вечером к переписчику зашел белокурый, франтовато одетый молодой человек, лет двадцати пяти — автор комедии.

— Позвольте вас спросить; — робко обратился к нему Горбунов, — я не разберу вот этого слова.

— «Упаточилась» — слово русское, четко написанное.

Так впервые встретился автор «Банкрота» («Свои люди — сочтемся») А. Н. Островский с лучшим другом и соратником своим И. Ф. Горбуновым.

Горбунов одно время и жил в доме А. Н. Островского. Здесь в 1853 году сотрудники «молодой редакции» «Москвитянина» услышали его первые рассказы из народного быта. Прием был восторженным.

Знатоки и чародеи звучащего русского слова Александр Островский и Пров Садовский сразу же разглядели необыкновенность горбуновского таланта. Они его первые ценители, вдохновители, наставники. Садовский страстно пропагандирует новоявленный талант

по всей Москве. В 1854 году в свой бенефис он выводит Горбунова на сцену Малого театра в роли молодого купца в пьесе М. Н. Владыкина «Образованность». А через год при содействии Садовского и Тургенева Горбунов переходит навсегда в петербургский Александринский театр.

Живя в Петербурге, Горбунов остается москвичом. Кончается театральный сезон, и он устремляется в город своей юности. В Москве у него остались и лучшие друзья — кружок «молодой редакции» «Москвитянина»: Пров Садовский, Аполлон Григорьев, Евгений Эдельсон, Тертий Филиппов, Борис Алмазов, Николай Рамазанов и другие. Душой «молодой редакции» был А. Н. Островский. Здесь царил культ слова, культ старинного русского быта. Здесь же родилась и неосуществимая попытка найти истинно русские народные характеры в среде самодурного купечества.

А. Григорьев, обращаясь к «старым» славянофилам, писал: «Убежденные, как и вы же, что залог будущего России хранится только в классах народа, сохранившего веру, нравы, язык отцов, — в классах, не тронутых фальшью цивилизации, — мы не берем таковым исключительно одно крестьянство: в классе среднем, промышленном, купеческом по преимуществу, видим старую, извечную Русь».

Эти славянофильские взгляды сказались даже в пьесах Островского «Не в свои сани не садись», «Не так живи, как хочется» и особенно в «Бедность не порок».

Но почему только один член «молодой редакции» Иван Горбунов не поместил в славянофильском «Москвитянине» ни одного произведения? Почему он первое свое печатное произведение «Просто случай» отнес в журнал западников «Отечественные записки»? Да потому, что не защита «человеческого» в пьяном русском купце, а осмеяние его — вот пафос этого произведения, разделивший Горбунова с славянофилами. В своем творчестве он всегда оставался писателем-демократом, верным учеником Островского. Влияние «молодой редакции» сказалось более на известной аполитичности Горбунова.

Публичные чтения своих сцен Горбунов начал в 1855 году в Москве и Петербурге. Это был какой-то неслыханный взлет артистической славы. Вскоре по приезде в Петербург он пишет отцу: «Теперь у меня приглашение за приглашением; признаться сказать, попринадоело... Не знаю, чем кончится моя карьера, а начата так блестяще, что ни один актер так не начинал своего поприща... Да какой актер? Из литераторов-то».

Репертуар еще весьма скромен. «У квартального надзирателя», «Мастеровой» да начавшая свое триумфальное шествие сцена «У пушки». Вот и все. А слушатели не замечают этой ограниченности. В десятый, в сотый раз несется требовательное: «У пу-у-шки!..», «У пу-ушки!..», «Читайте «У пушки!».

Обостренное чувство слова, чарующая правдивость интонаций, тембра, ритма речи героев, тонкая юмористическая наблюдательность, уморительная мимика, игра глаз — вот что покоряло зрителей в этом «актере из литераторов-то». И как-то сразу всем стало ясно — на русской земле появился талант новый, незнаемый.

Невольно вырвалось словечко «неподражаемый», да так и осталось постоянным эпитетом горбуновского таланта. Подражать Горбунову и нельзя. Полное и мгновенное перевоплощение в своих героев, редкостный дар имитации, богатство мимики, неисчерпаемое многоголосие — это мог только Горбунов. Один он мог делать свои «перемолвки на двенадцать голосов». И всякий, кто не видел, а лишь слышал рассказчика, был убежден, что где-то по-соседству беседуют, спорят, восторгаются и негодуют двенадцать характеров, двенадцать живых людей, а то и целая уличная толпа.

Запечатлеть и выразить характер в одной реплике — это, на зависть всем драматургам и актерам прошлого и настоящего, умел только Горбунов. Рассказы его надо было слушать в его же исполнении. Но и читая их, мы слышим интонацию героев. Городовой уводит в участок астронома-любителя. Толпа обывателей комментирует это событие. Слышится: «На Капказе бы за это...»

Одна реплика. И перед нами старый забитый служака, для которого высочайшая, святая справедливость — офицерская зуботычина.

Где имитация — там и курьезы. Горбунов совсем не знал по-английски. Англичане же, слушая его речи и не понимая ни слова, были абсолютно и приятно убеждены, что их приветствуют на родном языке. У Горбунова даже был, не сохранившийся в записи, рассказ «Заатлантические друзья». На банкете выступают виновники торжества — американцы. У каждого особый тембр и ритм речи в соответствии с характером и темпераментом. И все это на «английском» языке, сымпровизированном Горбуновым.

Писатель и актер Горбунов — «мастер характерной детали, лаконичного сгущенного мазка». Это его стихия. В ней он нашел себя, свое призвание, свое место в искусстве. Большие роли, по-видимому, не укладывались в его исполнительскую технику. Прослужил он в Александринском театре 40 лет. Островский назначал ему роли во всех премьерах своих пьес. Но только Кудряша в «Грозе» он сыграл с подлинно горбуновским комедийным лиризмом. Куд-

ряш — Горбунов вошел в золотую галерею русских сценических образов.

Горбунов — новатор, первооткрыватель и неподражаемый мастер в другом жанре. Он становится властелином подмостков, антрактов, актером без рампы и декораций. Горбунов упрочил на русской сцене устный эстрадный рассказ. Радуясь за своего талантливого ученика, Островский говорил: «Горбунов читает совершенно моим тоном». Но Горбунов пошел и дальше своего учителя. Он раздвинул возможности звучащего слова, открыл его новую, эстрадную стихию.

Не только редкий дар имитации и импровизации, необыкновенность исполнительского мастерства создали Горбунову крылатую славу. Злободневность сцен из народного быта, гуманизм автора вызывали громадный интерес слушателей в годы борьбы за освобождение крестьян от крепостного рабства. На литературных вечерах, благотворительных концертах, а чаще на дружеской вечеринке повествовал актер-рассказчик о жизни народа. И, выйдя на сцену Александринского театра в антрактах, на бенефисах своих друзей, этот «отец русской эстрады» переносил своих слушателей от репертуарных замков и будуаров, еще частых в то время, в московское захолустье, в деревенскую глушь.

В сценах из народного быта — тонко подмеченная Горбуновым психология незаметного русского человека, горемычная жизнь крестьян и фабричного люда.

Крестьянам и фабричным Горбунова присуще любовное, какое-то просветленное отношение к русской природе. В ней они черпают силу, свою житейскую уверенность. Лес, луг, река, их обитатели с непременными лешими и водяными — это особенный, поэтический мир простого человека. У чудаковатого героя сценки «Безответный» природа — страсть, самозабвение, вся жизнь: «Народ — кто в трактир, кто куда, а я в лес...» Но и эта безобидная, поэтическая любовь приносит герою страдания.

Страдания и слезы — неотвязные и печальные спутники жизни народной в рассказах Горбунова. «Вся-то жизнь наша слезы, — говорит старик в «Медведе», — родимся мы во слезах и помрем во слезах... И сколько я этих слез на своем веку видел и сказать нельзя».

Дореформенные и пореформенные крепостники всегда вызывали ненависть автора. Крестьяне Горбунова еще неспособны на активный протест. Они протестуют своеобразно — отмежевываясь от господ, оберегая свою чистоту, а подчас свои наивные представления, даже темноту свою.

Да и кто развеет эту темноту русского мужика! Ведь «господам

служили, а господину зачем наша наука, — резонно рассуждает Прасковья в «Визите»... — Опять же покойница барыня, царство ей небесное, терпеть не могла, кто книжки читает».

Вот почему существование лешего и водяного — это уж вне сомнения, «кого хошь спроси», да к тому же у лешего и вид вполне определенный: «одна ноздря, а спины нет». Как должное воспринимается и слух о явлении в церкви... анафемы с седенькой бородкой, и то, что англичанину все возможно — ведь он верит... в петуха. И эти наивные верования крестьяне оберегают от господ. «Дворянин один в Калуге не верит в лешего», «Но много он знает — дворянин-то?!», «Да что доктора, — утверждает охотник в «Медведе», — для господ они, может, хороши, а нам они ни к чему... Нашу натуру они не знают, порошки ихние на мужика не действуют». Так улыбка Горбунова просто и своеобразно развенчивала разглагольствования официальной пропаганды о единении и взаимной любви угнетателя и угнетенного.

В юморе Горбунова — раздумье о тоске-печали мужика, у которого, по меткому выражению крестьянина в «Медведе», «душа в грудях заросла». Но и эта «заросшая», темная душа сознает свое человеческое достоинство, а сказать-то о нем может только в песне, да и то, если господ нет дома:

«Ах, нас, крестьян,
Господа теснят!
Мы не ряженые,
Не помаженные,
А и в нас душа...»

Правдивым и колоритным изображением этой «заросшей души», для которой высшее счастье, «коли запрету от господ нет», которая рвется «на произволенье», Горбунов вносил свой вклад в освободительную литературу шестидесятников. Не случайно его поэтический рассказ «Лес», и овеянный грустным юмором «Утопленник», и трагически-безысходная сцена «На большой дороге» печатались в «Современнике» Некрасова и Чернышевского.

«До конца, до мельчайших подробностей ведомый мне мир», — говорил о «темном царстве» Горбунов. Неприступны для свежего ветра высокие заборы замоскворецкие, плотно прижатые ставни, накрепко захлопнутые двери. Неприступно для нормальных человеческих мыслей и чувств ожиревшее сердце купеческое. Сонная одурь, прерываемая диким хмельным разгулом, — вот стихия «темного царства» в сценах из купеческого быта Горбунова.

К концу масленицы от неуемного блинообжорства купеческий дом «одурел». Молча гладят животы, слышно чье-нибудь громкое

икание, да хозяйский сын Семенушка воскликнет: «Манька, я... я забыл, сколько съел...» И последует бабушкино успокоительное: «Ешь, Семенушка, ночью не дадут...»

Беспредельный талант имитатора и мимиста часто увлекал Горбунова на изображение разгульных купеческих оргий. Как никто другой, умел артист-рассказчик вызвать смех-отвращение к забавам захмелевших купчиков. У мужика хмель-забвение — «пей — забудешь горе». Пьяный мужик Горбунова жалок и несчастен. К купцам же Горбунов жалости не находил. Слишком часто видел он, как самодуры «в гостинице «Ягодка» мазали горчицей лицо трактирному служителю». И, отрезвев, купец, не видя в этом ничего плохого, объясняет судье с самодурной наивностью: «Какая же тут моя вина, ежели мы за свои деньги... ежели и смазали маленько — беды тут большой нет; если бы его скипидаром смазали... опять и деньги мы за это заплатили».

«Деньги... За все заплачено...» Вот единственные основания купеческой нравственности — самодурства и своеобразной невежественной гордости. Чем нелепей, невежественней, бесчеловечней поступок — тем больше любование им. Какой-то грамотей-просветитель пытается разъяснить обывателям московского захолустья причины солнечного затмения. О его невесело начавшемся утре мы узнаем из одной реплики купеческого прихлебателя, восхищенного «подвигом» своего Ивана Ильича: «Спервоначалу зашел в трактир и стал эти слова говорить: «Теперича, говорит, земля вертится»,— а Иван Ильич как свистнет его в ухо!.. «Разве мы, говорит, на вертушке живем?» Кончилось все участком, и попал туда не Иван Ильич, а несчастный просветитель.

В сценке «Развеселое житье» купец выявляется в своих убеждениях еще определеннее. Замечание какого-то господина, что безобразничать с дамами в трактире — «ваше одно необразование», распоясавшийся лабазник «опровергает» сногсшибательным ударом.

Картины купеческих нравов в сценах и очерках Горбунова — своеобразное и красочное дополнение к сочинениям великого русского драматурга, бытописателя и обличителя «темного царства» А. Н. Островского.

Горбунов расслышал в народе великий страх перед неправдой полицейщины и бюрократии. На околице убит молнией человек. Мы чувствуем, слышим смятение всей деревни: «Теперь и не разделаешься». Вдруг испуганное, вводящее в дрожь: «Становой!.. Становой!..»

И у мужиков к безвинному Петрухе, первому увидевшему убитого, просьба-боль, просьба-страх: «Петрушка! Голубчик, не погуби! Все на себя прими».

Квартальный и становой пользуются у Горбунова вниманием особым. Ведь эта, так сказать, непосредственная власть страшна крестьянину и московскому обывателю. Сии блюстители порядка могут привлечь к ответу по любому поводу, а то и просто без повода. А коли привлечен, доказывать невиновность — труд напрасный, и остается твердить в любом случае одно и то же: «К этому делу непричинен». Такое же испуганно-недоверчивое отношение простого человека и к суду, и ко всякой власти вообще. Это чувство русского мужика и правила жизнеповедения, вытекающие из него, первый исследователь творчества Горбунова, известный юрист А. Ф. Кони, назвал «целым правосозерцанием, над которым нельзя не задуматься».

Полицейский в сценах Горбунова — это молодой, неукрощенный Пришибеев. Время Горбунова — расцвет пришибеевской методы. Горбуновскому Пришибееву никто не возражает. Он не рассуждает, он действует. Арестует портного, собравшегося лететь на воздушном шаре. И кто-то из обывателей резонно замечает: «И как это возможно без начальства лететь?» Любитель-астроном и городовой ведут весьма обычный разговор, в котором мы ясно слышим пришибеевскую интонацию:

«— Вы тогда поймете, когда в диске будет.

— Почтенный, вы за это ответите!

— За что?

— А вот за это слово ваше нехорошее...

— Сейчас затмится!

— Может, и затмится, а вы, господин, пожалуйте в участок».

Очень мало сохранилось рассказов Горбунова о российском судопроизводстве, дававшем его таланту богатейший материал. Только по воспоминаниям современников мы знаем теперь один из шедевров Горбунова «Политический процесс», где российские держиморды и ляпкины-тяпкины ведут удивительно серьезное и до нелепости смешное разбирательство дела крупного государственного преступника, оказавшегося обыкновенным пьянчужкой. Вместе с артистом умерли и сценка «Земское собрание», и рассказ о прибавке жалования уездной полиции, и, наконец, сатирическое изображение несуществующего русского парламента, по вполне понятным политическим соображениям рассказываемое в тесном кругу друзей. Только из-за победоносцевской цензуры не попало в печать ни одного рассказа о жизни духовенства, которые, по воспоминаниям современников, были многочисленны, на редкость колоритны и остроумны.

Высмеивая крючкотворство судей, рукоприкладство городовых, жульничество духовенства, Горбунов был другом, помощником и

активным деятелем прогрессивной сатирической журналистики шестидесятых годов.

Не многим известно, что у Козьмы Пруткова был родной брат — генерал Дитятин. Это самое вдохновенное создание Горбунова. Свой редкий талант он воплотил в образе старого аракчеевского служаки, дающего свои оценки любому политическому и общественному явлению пореформенной России.

Прикрываясь этой яркой сатирической маской, артист зло и остроумно издевался над всеми видами российского мракобесия, шовинизма, ретроградства и тупоумия. Воззрения Дитятина, в изображении Горбунова, реакционнее реакционнейших «Московских ведомостей» М. Н. Каткова. На сей счет мы имеем даже самопризнание Дитятина, внесенное им в свою «Записную тетрадь старого москвича»: «Не во всем я с мнением «Московских ведомостей» согласен».

Все прошлое вызывает в ретрограде Дитятине умилительно-восторженное воспоминание. Настоящее — только генеральскую ненависть, раздражение. Дорожил генерал Дитятин больше всего солдатской муштрой, столь усердно насаждавшейся Аракчеевым и Николаем I, которая столь блистательно привела к крымской катастрофе. Впрочем, к этой катастрофе генерал Дитятин «непричинен». Ведь именно он всегда утверждал, что «солдат создан не для войны, а для караульной службы». И приводил убедительный аргумент знатока: «Война пачкает мундиры и разрушает строй».

Генерал Дитятин не только без устали негодовал на военное министерство, введшее обязательную воинскую повинность вместо двадцатипятилетней солдатчины. Он любил потолковать и о политике. Однажды предложил «вводить православие посредством пирогов», придумал «налог на пуговицы», от имени генерала Дитятина Горбунов заклеймил различные виды политического отступничества фразой: «В России всякое движение начинается с левой ноги, но с равнением направо».

Литературный кумир Дитятина — Державин. Ни Гоголя, ни Некрасова, ни Тургенева, ни Островского, ни Толстого он не признавал. И всегда жалел, что граф Бенкендорф был слишком либерален с «легкомысленным Пушкиным». И только на пушкинских торжествах 1880 года Дитятин открыл — фамилия Пушкин происходит от слова... «пушка»! Последнее несказанно порадовало его генеральское самолюбие.

Не чужд был Дитятин и науке. На его сочинениях «Превосходство кремневого ружья» и «О возможности столкновения на реке Шпрее» даже шах персидский собственноручно написал: «Благодарствую. Не оскудевай умом». И все-таки, в отличие от Козьмы Прут-

кова, генерал Дитятин не умел держать перо. Только на обедах, литературных вечерах, торжествах, дружеских вечеринках, а то и просто на улице «шамшил» и брюзжал генерал Дитятин под раскатистый смех слушателей, утверждая непреклонность своих окаменевших воззрений. Бесчисленные остроумнейшие экспромты, реплики, каламбуры, изречения, импровизации на юбилеях Пушкина, А. Майкова, Григоровича, Айвазовского, на частых обедах друзей-бенефициантов — все сказанное Дитятиным за тридцать лет исчезло безвозвратно. И теперь читаем мы только тост-экспромт в честь Тургенева, два дружеских остроумных письма, речь при открытии танцевальной залы да его небольшую записную тетрадь.

Популярный генерал Дитятин продолжает жить и после смерти своего создателя. Он становится нарицательным персонажем, «автором» литературных мистификаций. От имени горбуновского генерала читатели пишут анонимные сатирические письма в редакции газет. А в 1907 году в сборнике «Из архива генерал-майора и кавалера И. Ф. Дитятина 2-го. Мемуары и переписка» бездарный царский генералитет высмеян стилем горбуновского героя. Почти на каждой странице этого сборника суждения Дитятина соседствуют с изречениями его друзей — сатирических героев Салтыкова-Щедрина. Таков этот очень поучительный и так несправедливо забытый сценический образ Горбунова, друга и союзника сатириков-искровцев.

Необыкновенную чуткость к слову, к его истории проявил Горбунов и в стилизациях челобитных, указов, грамот и писем XVII—XVIII веков, его подделки старинной письменности принимались за чистую монету даже знатоками русской старины. Известный историк и этнограф П. И. Савваитов, прочитав «Письмо русского боярина из Эмса», удивился существованию в XVII веке... рулетки. И еще более был поражен, узнав, что этот «боярин»... актер Горбунов.

В своих устных фельетонных сценках Горбунов едко пародировал слог судей, учителей, священнослужителей. Любил Иван Федорович высмеять стиль современных журналистов. Он опубликовал два номера «Ватерпаса» — газеты, уравнительной для всех партий. В этой оригинальной пародии остроумно соединены пустозвонство либеральной и скандальность бульварной прессы. Читая стихи, повести и романы своих современников, Горбунов собирал материал для стилистической хрестоматии «Как писать не надо».

Веселый рассказчик Горбунов любил вспомнить и превратить в сатирический афоризм услышанное выражение. В уцелевшем отрывке его записной книжки есть такая ставшая крылатой фраза петербургского генерал-губернатора А. А. Суворова: «Я ему дело говорю, а он мне закон тычет». Здесь же и сетование учителя исто-

рии: «Помню, что было тысячи лет тому назад, а что вчера было — не помню». И большинство записей Горбунова — это услышанное: «Крестьян отняли, теперь им очень скучно», «За слияние интеллигенции с капиталом» (тост), «Три любовника, а любить некого», «Ошиблись во взглядах: вы думали, что я дурак, а я думал, что вы умный», и т. д.

Эти ежедневные неутомимые поиски слов приводили иногда к совершенно неожиданным, оригинальным результатам. В журнале «Русская старина» Горбунов опубликовал саркастический словарь. Название — «Розгословие». Содержание — глаголы, употреблявшиеся при истязании русского человека полицейскими, сельским начальством, воспитателями духовных и светских училищ. Вздрючить, взъерепенить, изъерихонить, отжварить, оттрезвонить, выпороть, отпороть, запороть и т. д. — целый словарь надругательств. И горькой иронией в годы жестокой реакции восьмидесятых годов звучал подзаголовок «Розгословия»: «Слова, вместе с выражаемыми ими действиями, вышедшие из употребления в новой и свободной России после 19 февраля 1861 года».

Мертвящую реакцию восьмидесятых годов испытал на себе и Горбунов. В одном из писем горькое признание: «В последние два года я был окончательно выбит из репертуара и уже начал терять энергию. На сцену меня не пускали, а в публичных концертах и литературных вечерах, даже со своими собственными произведениями, появляться запрещено». И Горбунов отходит в своих рассказах от острой социальной тематики. Все чаще смешит он слушателей аристократических салонов и захмелевшую молодежь царского дома. Все реже, беззлобней знакомый голос генерала Дитятина. И его самая острая сатирическая сценка «Общее собрание общества прикосновения к чужой собственности», созданная в 1883 году, — лебединая песнь в его обличительном творчестве. А Горбунову в это время было всего 52 года. Умер он в 1895 году. В последнее десятилетие он создает в основном нравоописательные очерки.

Иван Федорович Горбунов... Это имя стало синонимом неповторимости таланта. И в первую очередь — это неповторимость горбуновского языка. Многоцветность стилистической палитры Горбунова — яркое, поучительное доказательство неисчерпаемости выразительных средств русского языка. В его рассказах и очерках образный и меткий язык крестьянина, фабричных рабочих, купечества. Мы слышим речи деятелей суда и земства. Сценки Горбунова — уникальнейшая «магнитофонная» запись живой звучащей речи сороковых — восьмидесятых годов прошлого века.

Горбунов и сам много сделал для обогащения русской речи. Он окрылил многие выражения. Эта крылатость «горбуновских слове-

чек» родилась из самого существа его нераздельного таланта писателя и актера-рассказчика.

В миниатюрах Горбунова отсутствует интрига, а иногда и всякое действие. Это картинки жизни. И только через диалог вырисовывается психологический облик персонажей. Язык действующих лиц настолько характерен, так метки и индивидуальны реплики, что мы чувствуем до осязаемости обстановку, слышим интонации персонажей, лучше всяких ремарок улавливаем их психологическое состояние. Характерность, точность, краткость реплик и создает афористичность языка горбуновских миниатюр. «Словечки» Горбунова: «Кажинный раз на этом месте», «От хорошей жизни не полетишь», «Ядро особь статья, а бонба особь статья» и другие — нередко в своих полемических статьях использовал В. И. Ленин.

Чтением своих рассказов-миниатюр Горбунов приобрел неслыханную всероссийскую известность. Актер Горбунов совершал многочисленные поездки по России. Он создал эстрадный жанр устного рассказа, породил многочисленных последователей, литературных и сценических двойников. Уже в семидесятых годах выходят поддельные «Сцены из народного быта» Горбунова в трех частях. Если «Сцены из народного быта» самого Горбунова издавались шесть раз, то эта подделка выдержала девять изданий. А десятое по какой-то непонятной причине появилось даже в 1923 году.

Один из бесчисленных друзей артиста, писатель-этнограф С. В. Максимов, вспоминает, как искажали бездарные подражатели один из шедевров Горбунова, сцену «У пушки»: «Рассказ этот был подхвачен различными добровольцами и разнесен по всем городам обширного царства. Шепелявые молокососы из недоучившихся гимназистов, скитальцы, «перелетные птицы» из неудавшихся и потерянных провинциальных актеров лезли с этим рассказом на подмостки увеселительных заведений, которые с середины пятидесятых годов вырастали, как грибы. Подражатели бессовестно, из слепого стремления к вящему успеху уродовали коротенький рассказ самодельными вставками, безобразно растягивали его до томительной скуки...»

А некоторые рассказчики и прямо выдавали себя за знаменитого артиста. С одним из таких двойников встретился в провинции сам И. Ф. Горбунов.

Исследователь истории русской эстрады Е. М. Кузнецов в книге о Горбунове отмечал: «На садово-парковой эстраде шестидесятых—семидесятых годов стали появляться разные Горбунковы, Горбунчиковы, Горбунковские — беспомощные, жалкие копировщики, искажавшие облик Горбунова, вызывавшие совершенно ложное о

нем представление как о развязном зубоскале псевдонародного толка, рассказчике плоских и пошлых бытовых анекдотов».

Появление подражателей — неизбежный спутник успеха. Но оно же и свидетельство своевременности появления таланта, каким и был Горбунов, вызвавший к жизни эстрадное искусство во всех уголках России.

Редкостный талант Горбунова и доброта его открытой русской души сделали его приятелем буквально всех выдающихся представителей русской литературы и искусства. С некоторыми из них он был в большой и сердечной дружбе. Это в первую очередь А. Н. Островский, П. М. Садовский, Н. А. Некрасов, М. П. Мусоргский, А. Ф. Писемский, Д. Д. Минаев. «Милейшему и добрейшему Ивану Федоровичу Горбунову», — писали Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский, И. Е. Репин, К. Маковский, В. А. Слепцов, А. Н. Плещеев, В. Курочкин и многие другие.

Неоднократно бывал Горбунов за границей. В первую поездку с А. Н. Островским в 1862 году они посетили в Лондоне А. И. Герцена, который произвел очень большое впечатление на Горбунова. Герцен поразил его «силою своего таланта» и «тем дьявольским остроумием», которым он, по словам Горбунова, отличался. И Горбунов после двух-трех рассказов, среди которых, кажется, был «Квартальный», завоевал симпатии Герцена. Последний пришел в неописанный восторг, горячо обнял Горбунова, расцеловал его и подарил на память фотографическую карточку, где он снят с Огаревым.

По воспоминаниям современника, очень тепло отзывался о таланте Горбунова-рассказчика Л. Н. Толстой: «Горбунов подобен плотнику, который, натянув белую нитку, намечает черту и рубит по ней. Вот-вот сорвется... в шарж, но нет — как искусный мастер остается на верной черте. Чистая работа!»

А. П. Чехов писал: «Горбуновский рассказ, несмотря на незатейливую, давно уже заезженную тему, хорош — форма! Форма много значит...» По свидетельству современника, он сказал о Горбунове по-чеховски кратко и выразительно: «Чует человек Россию!»

Необыкновенный талант, создатель целого направления в русской эстраде, автор поэтических рассказов в лицах, полных юмора, мягкой иронии, а порой и сатиры, создатель оригинального образа Дитятина, неподражаемый Иван Федорович Горбунов, по словам Мусоргского, «не умрет, а будет вовек жить в русской земле».

Вся история русской эстрады в жанре устного рассказа прошла под знаком горбуновских традиций. Всенародное признание И. Ф. Горбунова и путь, проложенный им на эстраде, обусловили появление таких выдающихся рассказчиков, как В. Н. Андреев-

Бурлак, В. Н. Давыдов. Для всех актеров-рассказчиков творчество Горбунова стало образцом и символом подлинно художественной эстрады. Актерские заветы Горбунова сохранились не только в воспоминаниях и устных преданиях, но и в его сценках, где так и слышится голос самого Горбунова. Достаточно вспомнить, с каким успехом читал И. М. Москвин сцену «У пушки», Владимир Хенкин — монологи «Тенериф» и «Нана», а артист Малого театра В. Ф. Лебедев — многие рассказы Горбунова.

Виртуозная исполнительская техника, живописное рассказывание и импровизация отца русской эстрады И. Ф. Горбунова живет и ныне — и в устных рассказах Ираклия Андроникова, и в басенном перевоплощении Игоря Ильинского, да и в каждом чтеце, который стремится быть актером, передающим не букву, а душу написанного. Изучение творческого опыта И. Ф. Горбунова, приобщение к его самобытнейшему дарованию пробудит, будем надеяться, новых достойных преемников редкостного и веселого таланта этого замечательного рассказчика.

Горбунов будет всегда памятен нам и как историк русского театра и первый его музеограф. В фойе Александринского театра на свои средства он создал первый театральный музей России. Сам выходец из крестьян, Иван Федорович Горбунов любил водить по своему музею посетителей и, показывая на портреты знаменитых актеров, с гордостью за русский народ говорил: «Крестьянин!.. Крестьянин!.. И это крестьянин!..»

Н. СВЕРЧКОВ.

ПРИМЕЧАНИЯ

С чтением сцен из народного быта И. Ф. Горбунов выступил впервые в Москве в 1853 году в кружке «молодой редакции» журнала «Москвитянин» (А. Н. Островский, А. А. Григорьев, П. М. Садовский, Б. Н. Алмазов, Е. Н. Эдельсон, Т. И. Филиппов и другие).

«Е. Н. Эдельсон стал мне давать небольшие книжки для рецензии в «Москвитянине», — пишет Горбунов в воспоминаниях. В неопубликованном письме Е. Н. Эдельсону, хранящемся в Центральном государственном архиве литературы и искусства, Горбунов пишет: «...прошу выслать деньги за мою работу в «Москвитянине» (Фонд 1951, опись 1, ед. хр. 4). Это и были первые печатные выступления И. Ф. Горбунова. Но установить, какие рецензии были написаны им, не удалось. Маленькие рецензии в 1853—1855 годах в отделе «Критика и библиография», как правило, были анонимными.

В сентябрьском номере «Отечественных записок» за 1855 год — дебют в печати Горбунова-рассказчика: сцены из купеческого быта «Просто случай». Горбунов помещал свои произведения в журналах «Современник», «Искра», «Общезанимательный вестник», «Осколки», «Русская старина», «Русский вестник», «Русский архив», «Нива», «Еженедельное новое время», в литературном сборнике русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии «Складчина» (1874), в газетах «Новое время», «Северная пчела», «Санкт-Петербургские ведомости», «Гражданин», «Новости», «Московский листок», «Русское дело».

В 1861 году в Петербурге выходит первый сборник Горбунова «Сцены из народного быта», включивший восемь произведений. Дополнявшиеся переиздания этого сборника выходили в 1868, 1870, 1873, 1874 годах. Самое полное прижизненное издание Горбунова — «Сцены и рассказы» — осуществил в 1881 году А. С. Суворин. Было отпечатано несколько сот экземпляров на толстой бумаге, с большими полями, в дорогом, с золотым тиснением переплете. В этом сборнике помещено 35 произведений.

Все прижизненные издания Горбунова стали библиографической редкостью.

В 1901 году в приложении к журналу «Нива» А. Ф. Маркс под редакцией и с предисловием А. Ф. Кони напечатал Полное собра-

ние сочинений, выдержавшее три издания. В этом двухтомнике далеко не все произведения писателя, в нем нет переписки.

В 1904—1910 годах Общество любителей древней письменности издает под редакцией П. С. Шереметева Сочинения Горбунова в трех томах — дорогое подписное издание большого формата, с множеством рисунков и фотографий. А. Ф. Маркс, купивший у наследников право на издание Горбунова, разрешил Обществу издать всего 500 экземпляров по цене не менее 15 рублей. Это самое полное издание. Здесь помещено 76 произведений Горбунова, его переписка, дневники, воспоминания о нем, материалы для биографии; ко второму тому приложен юмористический «Ватерпас» — «газета уравнительная для всех партий» (№ 1, 2).

Это было последнее дореволюционное издание. После 1917 года издавались только отдельные произведения и небольшие репертуарные сборники. Рассказы Горбунова в советское время неоднократно включались в вузовские хрестоматии и различные тематические сборники.

Популярность рассказов Горбунова порождала многочисленных устных и даже печатных подражателей. В 1871 году выходят поддельные «Сцены из народного быта Горбунова» в трех частях, без инициалов автора, с подзаголовком «Для рассказов на сцене и семейных вечерах». Издание носило коммерческий характер и было рассчитано на дешевый эффект, что и возмутило всех почитателей И. Ф. Горбунова. Эта подделка выдержала 10 изданий. На последнем, напечатанном со старых матриц в 1923 году, на обложке ошибочно поставлены инициалы автора: И. Ф. Горбунов.

Рукописи Горбунова не сохранились. Тексты рассказов «Затмение солнца», «У пушки», «Воздухоплаватель», «Мастеровой», «У квартального надзирателя», «У мирового судьи», «Развеселое житье», «Просто случай», «Спрятался месяц за тучи», «На почтовой станции», «Громом убило», «Безответный», «Лес», «Утопленник», «На реке», «Медведь», «Из московского захолустья» даются по последнему прижизненному изданию Горбунова — «Сцены и рассказы», Спб., 1881.

«С широкой масленицей», «Об Саре Бернар», «Тенериф», «В деньгах счастье», «Общее собрание общества прикосновения к чужой собственности», «Тост генерала Дитятина», «Белая зала», не вошедшие в издание 1881 года, даются по газетным и журнальным публикациям.

«Речь, сказанная генерал-майором Дитятиным при освящении танцевальной залы...», «Письмо из Бузулука», «Приезд шаха персидского», впервые напечатанные в издании Общества любителей древней письменности, и рассказы «Жестокие нравы», «Нана», «Травиата», «Из московского захолустья» (I. «Иверские юристы», II. «Широкие натуры»), «Перед лицом графа Закревского», «Дьявольское наваждение», первая публикация которых неизвестна, даются по тексту Сочинений, т. 1—3, Спб., 1904—1910. По этому же изданию даются и «Воспоминания», которые хотя и печатались в газете «Новое время», но в Сочинениях они значительно дополнены по неизвестной нам рукописи.

Указание на первую публикацию дано после каждого рассказа.

Произведения Горбунова в настоящем издании расположены не по хронологическому, а по тематическому принципу, так как все

они распадаются на весьма определенные тематические группы: «Сцены из городской жизни», «Сцены из купеческого быта», «Сцены из крестьянского быта», составившие в настоящем издании раздел «Сцены из народного быта». Совершенно особняком стоят речи и письма генерала Дитятина. Отдельные группы составляют «Очерки о старой Москве» и личные воспоминания артиста.

В подзаголовке своих рассказов Горбунов всегда подчеркивал их тематику: «Сцена из крестьянского быта», «Сцена из купеческого быта», «Рассказ купца», «Сцена из московского захолустья» и т. д., и не придерживался хронологического принципа в прижизненных изданиях. Произведения в «Сценах из народного быта» (1861—1874 гг.) расположены не по времени написания, а в порядке появления их в печати. И рассказы, которые слышала вся Россия на концертах Горбунова, по многу лет оставались не напечатанными.

Не придерживался Горбунов хронологического принципа и в последнем прижизненном издании «Сцены и рассказы» 1881 года. Редактор Полного собрания сочинений И. Ф. Горбунова (т. 1—2, Спб., 1901) А. Ф. Кони впервые разбил произведения Горбунова на тематические группы. По этому же принципу составлено и самое полное, академического типа, издание И. Ф. Горбунова под редакцией П. С. Шереметева — Сочинения, т. 1—3, Спб., 1904—1910.

Распределение произведений по хронологическому принципу не облегчило, а только затруднило бы восприятие и изучение творчества И. Ф. Горбунова.

ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА

В журнале «Еженедельное новое время» (1879, № 6—7) рассказ начинался описанием места действия:

«Московское захолустье, одно из тех, где деревянные заборы, деревянные дома на каменном фундаменте и где древность первопрестольного града доказывается пребыванием на улице домашней птицы и свиней. На улице толпа народа».

У ПУШКИ

Один из самых ранних рассказов И. Ф. Горбунова. Журнальный вариант («Общезанимательный вестник», 1857, № 13), в котором много разночтений с каноническим текстом, назывался «Любознательные» и начинался со спора фабричных о том, где лучше провести свой отдых — «разгуляться».

— Куда, ребята?

— Разгуляться вышли.

— Пойдемте в Кремль.

— Ничего, пойдемте.

— Нет, ребята, это опосля дело будет, а таперича пойдемте к Семену Алексеичу в Низок [1], соловья послушаем, три пары выпьем, а там...

— Коего черта соловьев слушать! Велика эта птица...

— Известно, если кто этого чувствовать не может, тому все одно.

---

[1] В трактир. (*Прим. И. Ф. Горбунова*).

— Ну да, подводи резоны-то... Пойдемте, ребята, в Кремль.
— Нам все одно.
(В Кремле останавливаются перед Царь-пушкой).

МАСТЕРОВОЙ

Один из самых ранних рассказов И. Ф. Горбунова. В журнале «Общезанимательный вестник» (1857, № 1) рассказ начинался ремаркой автора:

«Мастеровой мужик, живущий на фабрике, пришел к своему хозяину сказать, что он женится. Отворил дверь и, видя, что никого нет в комнате, начинает кашлять, чтобы этим дать почувствовать свое присутствие. Хозяин входит».

У КВАРТАЛЬНОГО НАДЗИРАТЕЛЯ

Первый рассказ И. Ф. Горбунова создан в 1853 году. Впервые опубликован в журнале «Общезанимательный вестник» (1857, № 1) под заголовком «Сцена из домашней жизни квартального надзирателя».

Стр. 13. ...*Управа благочиния* — учреждение, ведающее городской полицией.

РАЗВЕСЕЛОЕ ЖИТЬЕ

Стр. 20. *Карамболь* — бильярдный термин, означающий особый удар по шару, при котором намеченный шар поражается рикошетом от столкновения с другим шаром. На купеческом жаргоне слово «карамболь» означало крупный скандал.

Стр. 21. *Три синеньких* — три пятирублевые ассигнации.

ЖЕСТОКИЕ НРАВЫ

Стр. 22. *Болвановка* — местность в Замоскворечье.

Трынка — азартная карточная игра.

Стр. 23. *«Яр»* — московский ресторан за Тверской заставой.

СПРЯТАЛСЯ МЕСЯЦ ЗА ТУЧИ

Стр. 37. *Фараоны* — презрительная кличка полицейских.

ТРАВИАТА

Стр. 48. *«Фру-фру»* — комедия Г. Мельяка и А. Галеви, одна из самых популярных пьес провинциального репертуара.

Аделина Патти (1843—1919) — известная итальянская певица.

Стр. 49. *Канцеляри* — искаженная фамилия знаменитого итальянского певца — тенора Энрико Кальцолари (1823—1888).

ОБ САРЕ БЕРНАР

Зимой 1881/82 года в России гастролировала знаменитая французская драматическая актриса Сара Бернар (1844—1923). Горбунов, кроме печатаемой в настоящем издании сценки, посвятил ее гастролям два фельетона «Съезд бернардистов» и «Я у Сары Бернар», в которых высмеиваются газетные рецензенты и театральные деятели, дававшие ее игре неумеренно восторженные оценки.

Стр. 53. *Русопет* — русский, с грубо выраженными шовинистическими взглядами, квасной патриот.

НАНА

Стр. 56. *Нана* — героиня одноименного романа Э. Золя.

Бибелью али Чикминей — искаженное название священных книг Библии и Четьи-Минеи.

Стр. 57. *«Нана» выставлена.* — Речь идет о картине художника Сухоровского «Нана».

Бебелина — греческая партизанка, героиня войны с турками 1821—1828 годов.

Стр. 58. *Бобковая мазь* — мазь (масло) из плодов лаврового дерева.

МЕДВЕДЬ

Стр. 76. *Кузнецов А. К.* — крупный московский фабрикант, приятель И. Ф. Горбунова.

Стр. 91. *Тиро!* — охотничий сигнал, предупреждающий о появлении зверя.

НА РЕКЕ

Стр. 101. *Фолетор* — искаженное слово «форейтор» — кучер, сидящий на передней лошади в упряжке цугом.

ТОСТ ГЕНЕРАЛА ДИТЯТИНА

Импровизация от имени генерала Дитятина на обеде в честь И. С. Тургенева в ресторане Бореля в Петербурге 13 марта 1879 года. П. С. Шереметев в «Отзвуках рассказов И. Ф. Горбунова» пишет: «Очевидцы передавали, что после многочисленных речей произошло несколько неприятных объяснений между И. С. Тургеневым и Ф. М. Достоевским. Положение сделалось неловким. Тогда, кажется, Д. В. Григорович подтолкнул Горбунова сказать несколько слов и сгладить неприятное впечатление, в ответ на что он произнес от имени Дитятина эту свою известную речь, которая сразу восстановила у всех приятное расположение духа» (*И. Ф. Горбунов.* Сочинения, т. 3, Спб., 1907, стр. 360).

Стр. 113. *Дмитриев И. И.* (1760—1837) — поэт-сентименталист, друг и последователь Н. М. Карамзина. Его элегии, песни и басни имели широкое распространение.

Каченовский М. Т. (1775—1842) — известный критик 20-х годов XIX века.

Михайловский-Данилевский А. И. (1790—1848) — военный историк и писатель.

Стр. 114. *Закревский А. А.* (1786—1865) — московский генерал-губернатор, ярый реакционер-крепостник.

Филарет (В. М. Дроздов, 1783—1867) — московский митрополит, ярый реакционер.

РЕЧЬ, СКАЗАННАЯ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРОМ ДИТЯТИНЫМ ПРИ ОСВЯЩЕНИИ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ЗАЛЫ...

Рукопись неизвестна. Впервые опубликована в Сочинениях, т. 2, 1904.

Стр. 116. *Куртаж* — плата посреднику в сделках капиталистов,

Паскевич И. Ф. (1782—1856) — русский генерал-фельдмаршал, ярый реакционер, душитель польского восстания 1830 года и венгерской революции 1849 года.

ПИСЬМО ИЗ БУЗУЛУКА

Письмо графу С. Д. Шереметеву от имени генерала Дитятина. Рукопись неизвестна. Впервые напечатано в Сочинениях, т. 2, 1904.

Стр. 119. *Вышнеградский И. А.* (1831—1895) — выдающийся русский инженер и ученый, в описываемое время — министр финансов.

...ревизии Ковалевского. — Сенатор М. Е. Ковалевский ревизовал Оренбургский край по делу о расхищении башкирских земель в 1880 году.

ПРИЕЗД ШАХА ПЕРСИДСКОГО

Письмо из Петербурга графу С. Д. Шереметеву от имени генерала Дитятина. Рукопись неизвестна. Впервые напечатано в Сочинениях, т. 2, 1904.

Стр. 121. *Эривань вспомнил* — захват русскими Еревана в русско-персидскую войну в 1827 г. войсками генерала И. Ф. Паскевича.

ИЗ МОСКОВСКОГО ЗАХОЛУСТЬЯ

Стр. 127. *Калуфер* (литературное кануфер) — многолетняя сильно пахнущая трава, употребляющаяся как пряность.

Стр. 130. *Прощеный день* — прощеное воскресенье, последнее перед великим постом.

Стр. 135. *Алебарда* — старинное оружие, секира на длинном древке.

Стр. 136. *Сибирка* — короткий кафтан со сборками и стоячим воротником.

Стр. 138. *Консистория* — учреждение с административными и судебными функциями, подчиненное епархиальному архиерею.

Стр. 143. *Набилков Ф. Ф.* — в Набилковском училище учился И. Ф. Горбунов. Задуманный очерк написан не был.

ИЗ МОСКОВСКОГО ЗАХОЛУСТЬЯ

I. Иверские юристы
II. Широкие натуры

Стр. 149. *Иверские ворота* — у Иверских ворот, пересекавших проезд между современными зданиями Музея В. И. Ленина и Исторического, находились здания присутственных мест.

Стр. 150. *Диоген в бочке* — древнегреческий философ Диоген (414—323 гг. до н. э.), по преданию, живший в бочке.

Борей — северный ветер.

Тарпейская скала — утес на западной стороне Капитолийского холма в Риме, с которого сбрасывали приговоренных к смерти преступников.

Стр. 151. *Аблокат* — искаженное «адвокат».

Стр. 155. *Синодальный певчий* — певчий одного из старейших русских церковных хоров — Синодального.

Стр. 156. *Бортнянский Д. С.* (1751—1825) — русский композитор.

Стр. 159. *Ренсковые погреба* — магазины, торгующие виноградными винами; всякое виноградное вино называлось «ренское» — искаженное «рейнское».

Торбанист — игрок на торбане, струнном инструменте, схожем с бандурой.

Чресла — бедра.

Стр. 160. *Аркадский принц* — идиллический образ безмятежного человека.

Стр. 161. ...*в Ирбите и в Нижнем* — на Ирбитской и Нижегородской ярмарках.

ВОСПОМИНАНИЯ

Воспоминания И. Ф. Горбунова печатались в газете «Новое время» 5, 12, 26 февраля 1884 года под заголовками «Из моего дневника». Текст дается по изданию Сочинения, т. 3, 1907.

При сверке текста «Воспоминаний» с газетной публикацией нами обнаружено, что в издании Сочинений Горбунова пропущен напечатанный в «Новом времени» 5 февраля 1884 года рассказ о разрешении к постановке комедии А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся», бывшей под цензурным запретом 11 лет. Он введен нами в основной текст на стр. 190 настоящего издания и начинается словами: «Конец сезона 1859 и сезон 1860 года не сходила с афиши драма «Гроза»... до слов: «Я несколько отвлекся от последовательного рассказа» на стр. 192.

В «Воспоминаниях» Горбунов тенденциозно излагает расхождения Щепкина и Островского. Великий актер всегда был ярым пропагандистом театра Островского, а в спорах о комедии «Бедность не порок», получившей за проповедь славянофильства резко отрицательную оценку Н. Г. Чернышевского, Щепкин выступал против идеализации образа Любима Торцова, прозвучавшей в игре П. М. Садовского.

Стр. 163. *Берг Н. В.* (1823—1884) — поэт, переводчик, педагог, учитель Горбунова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

«Свои люди — сочтемся». Эту пьесу А. Н. Островский начал писать в 1846 году. Послав в 1849 году свою комедию в цензуру, автор получил следующий отзыв цензора Гедеонова: «...Все действующие лица ...отъявленные мерзавцы. Разговоры грязны; вся пьеса обида для русского купечества» *(А. Н. Островский.* Полное собрание сочинений, т. 1, М., 1949, стр. 403). Пьеса приобрела широкую известность еще в рукописи. Ее читали в Москве П. М. Садовский, М. С. Щепкин и сам автор.

Ее публикация с большими цензурными изъятиями в журнале «Москвитянин» (1850, № 6) вызвала крайнее недовольство влиятельных московских купцов. Николай I распорядился направить ее в особый цензурный комитет и на докладе комитета написал: «Совершенно справедливо, напрасно напечатано, играть же запретить». Царь потребовал сведений о жизни и образе мыслей Островского и, получив доклад, отдал 1 июня 1850 года распоряжение: «Иметь под присмотром». И одна из лучших комедий Островского была разрешена к постановке только через 11 лет. Премьера состоялась

16 января 1861 года в Петербурге на сцене Александринского театра. Горбунов играл роль Тишки.

Стр. 165. *«Лев Гурыч Синичкин»* — водевиль Д. Т. Ленского.

Стр. 168. *«Параша Сибирячка»* — драма Н. А. Полевого.

Стр. 169. *«Я был на первом представлении...»* — Комедия А. Н. Островского «Не в свои сани не садись» поставлена в первый раз в Москве, в Малом театре 14 января 1853 года.

Стр. 172. *Бебутов В. О.* (1791—1858) — генерал, армянский князь, герой русско-турецкой войны 1853—1855 годов.

Сераскир — начальник турецких войск, военный министр.

Стахович М. А. (ум. в 1858 г.) — писатель, драматург, переводчик; примыкал к «молодой редакции» журнала «Москвитянин». В сценах из народного быта Стаховича «Ночное» в роли пастуха Вани дебютировал И. Ф. Горбунов на сцене Александринского театра 16 ноября 1855 года.

Миллер Ф. Б. (1818—1881) — поэт-переводчик Шиллера, Гейне, Мицкевича, Шекспира, в 1859—1881 годах издавал юмористический журнал «Развлечение».

Хомяков А. С. (1804—1860) — поэт, философ, один из основных представителей славянофильства.

Боклевский П. М. (1816—1897) — известный художник, иллюстратор произведений Гоголя и Островского.

Алмазов Б. Н. (1827—1876) — поэт, фельетонист, критик, член «молодой редакции» журнала «Москвитянин».

Стр. 173. *Крутицкие казармы* расположены на Арбатецкой улице нынешнего Пролетарского района Москвы. В то время служили местом предварительного заключения и пересылочным пунктом для рекрутов.

Фухтель — удар по спине плашмя обнаженной шпагой.

Линек — кончик линя, толстой веревки, употреблявшейся для телесных наказаний матросов.

«Московский трактир обругал Наполеона жуликом» — Наполеона III, французского императора с 1852 по 1870 год, племянника Наполеона I Бонапарта.

Стр. 174. *«Бедность не порок»* — написана А. Н. Островским в 1853 году и вышла отдельной книжкой в 1854 году. Впервые поставлена в Москве в Малом театре 25 января 1854 года. По поводу этой пьесы разгорелась острая полемика демократической критики со славянофилами. Особое значение имела статья Н. Г. Чернышевского в «Современнике» (1854, № 5), где он писал: «Островский впал в притворное прикрашивание того, что не может и не должно быть прикрашиваемо» (*Н. Г. Чернышевский.* Полное собрание сочинений, т. 2, М., 1949, стр. 240).

Рамазанов Н. А. (1815—1867) — скульптор-академик, профессор Московского училища живописи и ваяния. В 50-х годах был близок к «молодой редакции» журнала «Москвитянин», в котором помещал рассказы из жизни художников и статьи по вопросам искусства.

Эдельсон Е. Н. (1824—1868) — член «молодой редакции» журнала «Москвитянин», литературный критик.

Стр. 175. *Миша* — Садовский М. П. (1847—1910) — знаменитый русский актер.

Шаповалов Н. И. — либеральный чиновник Дворцовой конторы в Москве. В 50—60-х годах — организатор и режиссер любительско-

го драматического кружка, ставившего свои спектакли на квартире Н. И. Давыдова у Красных ворот. Был близок к «молодой редакции» журнала «Москвитянин», в котором помещал научно-популярные статьи.

Дивертисмент — дополнение к главному представлению.

Филиппов Т. И. (1825—1899) — член «молодой редакции» журнала «Москвитянин», впоследствии реакционный публицист, сенатор.

Стр. 176. *Литания* — род краткого богослужения.

Капуцин — монах католического францисканского ордена.

Крылов Н. И. (1808—1879) — профессор римского права Московского университета.

Рулье К. Ф. (1814—1858) — выдающийся русский биолог-эволюционист, профессор Московского университета.

Фришман И. К. — известный скрипач.

Бантышев А. О. (1804—1860) — знаменитый русский оперный певец, тенор.

Марио (1810—1883) — знаменитый итальянский певец, тенор.

Стр. 177. *Утешительный* — герой комедии Н. В. Гоголя «Игроки».

Стр. 178. *Чесноков* — настоящая фамилия актера Шумского.

Кудрявцев П. Н. (1816—1858) — историк, профессор Московского университета, друг Грановского.

«Жакартов станок» — стихотворение «Труженик» немецкого революционного поэта Артура Фрейлиграта, перевод Ф. Миллера (1851). Это стихотворение, запрещенное цензурой, Горбунов, как и многие мемуаристы о Щепкине, назвал «Жакартов станок». Дело в том, что Щепкин, воспользовавшись постановкой комедии Фурнье «Станок Жакара», читал это стихотворение от имени переплетчика Жакара, роль которого он исполнял. Пьеса была поставлена в Малом театре впервые в 1858 году, а стихотворение «Труженик» Щепкин читал еще в 1853 году.

Корши — семейство В. Ф. Корша, в 50-х годах редактора газеты «Московские ведомости». В доме Корша собирались писатели, журналисты, ученые.

Стр. 180. *Акафист* — молитвенно-хвалебное песнопение.

Солдатенков К. Т. (1818—1901) — московский миллионер, известный меценат, книгоиздатель и собиратель живописи.

Стр. 181. *Ермолов А. П.* (1772—1861) — генерал, герой Отечественной войны 1812 года.

Сценические пейзане — идиллический образ крестьянина в театре.

Кукольник Н. В. (1809—1868) — русский реакционный писатель, автор верноподданнических ходульных драм.

...Щербина почтил автора гнусной эпиграммой. — Имеется в виду эпиграмма:

Со взглядом пьяным, взглядом узким,
Приобретенным в погребу,
Себя зовет Шекспиром русским
Гостинодворский Коцебу.

(*Н. Ф. Щербина.* Стихотворения. Л., 1937, стр. 189).

Рашель Элиза (1821—1858) — французская трагическая актриса. Гастролировала в Петербурге и Москве в 1853—1854 годах.

...Григорьев... написал стихотворение «Рашель и правда». — «Рашель и правда» (элегия-ода-сатира) была опубликована в «Мо-

сквитянине» (1854, № 4). Восхищение Григорьева славянофильскими тенденциями пьесы Островского «Бедность не порок» вызвало резкое осуждение прогрессивной критики. В «Современнике» (1854, № 3) появилась фантастическая сцена «Литературные гномы и знаменитая актриса», где высмеивалась «молодая редакция» «Москвитянина». Это стихотворение Григорьева теперь печатается под названием «Искусство и правда».

Стр. 181. *«...протеста Александра Николаевича».* — Протест Островского был напечатан в № 8 «Современника» за 1856 год, а исчерпывающее «Литературное объяснение» — в газете «Московские ведомости» 5 июля 1856 года, № 80 (Полное собрание сочинений, т. 14, М., 1952, стр. 49—52, 53—54).

Стр. 182. *«Свои собаки грызутся»* — пьеса А. Н. Островского, опубликована впервые в журнале «Библиотека для чтения» (1861, № 3). Первая постановка пьесы состоялась на сцене Малого театра 27 октября 1861 года; в Петербурге на сцене Александринского театра 3 ноября 1861 года. В главной роли Бальзаминова выступил И. Ф. Горбунов.

«...написал в «Инвалиде» о неуспехе пьесы...» — Ошибка Горбунова. Ротчев напечатал статью за подписью Р. не в газете «Русский инвалид», а в «Северной пчеле» 19 ноября 1861 года, № 259. Ответ Горбунова за подписью *Г.* был помещен в той же «Северной пчеле» 2 декабря 1861 года, № 275.

De mortius — начало латинского изречения. «De mortius aut bene, aut nihil — «О мертвых или хорошо, или ничего».

Стр. 183. *Юркевич П. И.* — музыкальный критик.

Пустынь — небольшой монастырь в малолюдной местности, а также отдельные жилища монахов вне монастырей.

Стр. 184. *Кидошенков П. Б.* — приятель А. Н. Островского, московский купец.

Чернышев И. Е. (1833—1863) — драматург, беллетрист, артист Александринского театра.

Владыкин М. Е. (1830—1887) — драматург, артист Малого театра. В пьесе Владыкина «Образованность» Горбунов впервые дебютировал на сцене Малого театра 16 ноября 1854 года в роли молодого купца.

Стр. 185. *Родиславский В. И.* (1828—1885) — начальник секретного отделения канцелярии московского губернатора, драматург и переводчик, бессменный секретарь Общества русских драматических писателей, основанного А. Н. Островским в 1874 году.

Полевой Н. А. (1796—1846) — писатель, журналист и историк, издатель журнала «Московский телеграф».

Ободовский П. Г. (1805—1864) — драматург, переводчик.

...неподражаемо исполнял роль матроса... — Роль Симона в пьесе «Матрос» Соважа и Делюрье — одна из ярких в щепкинском репертуаре. Щепкин с поразительным актерским мастерством передал силу воли, любовь к людям и родине простого матроса Симона, который после двадцатилетнего отсутствия посещает родной дом и уходит из него, не открыв своего имени, чтобы не разрушить счастливую жизнь новой семьи.

...Белинский сказал о Каратыгине в «Велизарии». — Имеется в виду статья В. Г. Белинского «Александринский театр. «Велизарий», где критик дал очень высокую оценку актерскому искусству В. А.

Каратыгина, исполнявшего роль Велизария. Статья была опубликована в «Литературном прибавлении к «Русскому инвалиду» 25 ноября 1839 года (*В. Г. Белинский.* Полное собрание сочинений, т. 3, М., 1953, стр. 315—324).

«Велизарий» — трагедия в пяти действиях Эдуарда Шенка (перевод П. Г. Ободовского) о полководце Византийской империи Велизарии (505—565), обвиненном в заговоре против императора Юстиниана I.

Стр. 186. *...Белинский нам не указ...* — «Молодая редакция» «Москвитянина» отрицательно относилась ко всем западникам и революционерам-демократам, в том числе и к Белинскому.

Челлини Бенвенуто (1500—1571) — знаменитый итальянский скульптор, ювелир, медальер.

...пародируя стих поэта... — Перефразировка последней строфы стихотворения М. Ю. Лермонтова «Спор».

Стр. 189. *«Заколдованный дом»* — трагедия Ауфенберга, перевод П. Г. Ободовского.

«Жизнь игрока». — «Тридцать лет, или Жизнь игрока» — пьеса Дюканжа, перевод Р. М. Зотова.

«Скопин-Шуйский». — «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» — драма в стихах Н. В. Кукольника.

...в которой Мартынов проявил всю силу гениального таланта. — А. Е. Мартынов в пьесе А. Потехина «Чужое добро впрок нейдет», впервые поставленной на сцене Александринского театра 16 декабря 1855 года, исполнял роль Михайлы.

...Соллогуб со своим благородным чиновником... — В комедии В. А. Соллогуба «Чиновник», вышедшей отдельной книжкой в 1856 году, мелкий чиновник Надимов говорит: «Надо вникнуть в самих себя, надо исправиться, надо крикнуть на всю Россию, что пришла пора... искоренить зло с корнями... и лучшее порицание дурному — пример хорошего». Этот отказ от борьбы со злом получил резкую отповедь всей демократической критики. Н. Г. Чернышевский в статье «Заметки о журналах» («Современник», 1856, № 7, 8) поддержал статью Н. Ф. Павлова в журнале «Русский вестник» (1856, № 11, 14) и дал резкую критику комедии с революционно-демократических позиций (*Н. Г. Чернышевский.* Полное собрание сочинений, т. 3, М., 1949, стр. 661—668, 678—684).

Стр. 190. *...в которых Мартынов окончательно убил все приемы каратыгинской школы.* — А. Е. Мартынов в комедии Чернышева «Не в деньгах счастье», поставленной в Александринском театре 30 января 1859 года, исполнял роль Боярышникова, а в драме Островского «Гроза», поставленной в том же театре 26 декабря 1859 года, — роль Тихона.

Стр. 193. *...«Воспитанницу» он. написал ...в три недели...* — Горбунов ошибается. Эту пьесу Островский задумал еще в 1855 году, но отложил работу над ней до апреля 1858 года. Основная работа над этой пьесой протекала в октябре, о чем и вспоминает Горбунов. «Воспитанница» в печати появилась только в январской книжке журнала «Библиотека для чтения» за 1859 год. Пьеса была запрещена театральной цензурой и разрешена к постановке только в 1863 году. 21 октября 1863 года впервые поставлена на сцене Малого театра, в Александринском театре — 23 ноября 1863 года. Роль Гриши исполнял И. Ф. Горбунов.

«Столбовые Английского клуба» — именитые, столбовые дворяне, члены Английского клуба в Москве.

Альминское побоище — сражение на реке Альме в Крыму 8 сентября 1854 года, закончившееся поражением русских войск.

Стр. 197. *«Юрий Милославский»* — роман М. Н. Загоскина.

«Роберт-дьявол» — опера французского композитора Мейербера.

«Аскольдова могила» — опера А. Н. Верстовского.

...*«Вот на пути село большое»* — песня на слова Н. Анордиста.

Люстриновая сибирка — короткий кафтан из полушерстяной материи с глянцем.

Стр. 198. *Керженские скиты* — небольшие поселки монастырского типа в глухих местах по реке Керженцу Нижегородской губернии, заселенные беглыми старообрядцами.

Лестовка — кожаные четки у старообрядцев.

Ломберный стол — четырехугольный стол, обтянутый сукном, для игры в карты.

Демественные стихи — стихи старинного церковного напева в один голос.

Триодь — книга церковных песнопений.

Стр. 203. *Лонгинов М. Н.* (1823—1875) — библиограф, критик, в 50-х годах печатался в «Современнике» Некрасова под псевдонимом «Скорбный поэт», выступал за свободу печати; в 60-х годах эволюционировал вправо; с 1871 года стал начальником Главного управления по делам печати и проявил себя как ярый ненавистник прогрессивных изданий.

Стр. 206. *...разрешение дебютировать мне... в пьесе М. Н. Владыкина «Образованность».* — Дебют Горбунова в Малом театре состоялся 16 ноября 1854 года. Горбунов играл роль молодого купца.

Стр. 208. *«Даже ты, Варсонофий Петров...»* — Горбунов неточно цитирует строфу из стихотворения Н. А. Некрасова «О погоде». У Некрасова:

Даже ты, Варсонофий Петров,
Подле вывески: «Делают гробы»
Прицепил полужоные скобы
И другие снаряды гробов...

Боборыкин П. Д. (1836—1921) — известный романист и театральный деятель, преподавал технику актерской игры.

Драматическое общество — Общество драматических писателей и оперных композиторов. Его основателем в 1874 году и бессменным председателем до конца своей жизни был А. Н. Островский.

БЕЛАЯ ЗАЛА

Стр. 209. *Ангажемент* — приглашение артиста с определением сроков и условий.

«Благородный отец» — актер, исполняющий роли благородных отцов.

Стр. 211. *Трагик Хрисанф.* — Под именем трагика Хрисанфа Горбунов изобразил выдающегося русского актера Николая Хрисанфовича Рыбакова (1811—1876).

Стр. 212. ...*Коренная ярманка* — ежегодная ярмарка в Коренной пустыне под Курском, где в церковный праздник 8 сентября собиралось до 70 тысяч богомольцев.

...*полтораста Ляпуновых...* — Ляпунов, видный политический деятель Смутного времени,— герой ходульной драмы Н. В. Кукольника «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский».

Вальтрап — покрывало для лошадей из толстого сукна.

Стр. 213. *Ода «Бог»* — ода Г. Р. Державина.

...*в Ирбитской* — на ежегодной ярмарке в городе Ирбите Пермской губернии, ныне Свердловской области, продолжавшейся с 1 февраля по 1 марта. Ирбитская ярмарка, собиравшая несколько тысяч купцов, была второй по значению после Нижегородской.

Стр. 214. *Мешалкин Василий* — актер первой русской труппы.

Яган Готфрет — Грегори Иоганн Готфрид — руководитель первого русского придворного театра, основанного 4 июня 1672 года.

Стр. 216. *«Графиня Клара д'Обервиль»* — драма в переводе П. А. Каратыгина, в 1840-х годах шедшая с успехом на сцене многих театров.

...*во время Макарьевской ярмарки.* — Знаменитая ярмарка в городе Макарьеве Нижегородской губернии, переведенная после пожара в Макарьеве в 1817 году в Нижний Новгород.

Павел Степанович — П. С. Мочалов.

Стр. 218. *Субретка* — персонаж комедий и водевилей, плутоватая горничная, обычно поверенная своей госпожи.

«Материнское благословение» — драма (перевод Н. Перепельского, псевдоним Н. А. Некрасова), имевшая большой успех.

Комильфотный — отвечающий всем светским правилам.

Стр. 220. *Алан* — актер французской драматической труппы в Петербурге.

Спаржа — выросшие под землей стебли спаржи употребляются в пищу.

Каплун с трюфелями — изысканное блюдо. Специально откормленный и зажаренный петух с приправой из трюфелей — съедобных грибов.

Стр. 221. *Арну-Плесси* — известная французская актриса.

Стр. 223. ...*о котором впереди будет мое слово.* — Продолжения «Белой залы» Горбунов не написал.

ПЕРЕД ЛИЦОМ ГРАФА ЗАКРЕВСКОГО

Стр. 224. *Левассер Пьер* (1808—1870) — французский комический актер.

Стр. 225. *Александр Благословенный*—русский царь Александр I.

Потапов А. Л. (1818—1886) — генерал, в 1862—1864 годах начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III отделением.

Маркевич Б. М. (1822—1884) — романист.

Камлотовый — из камлота — плотной шерстяной ткани в полоску.

Стр. 226. *Henry Monnier* — Анри Монье (1805—1877). Французский драматург, актер и карикатурист.

СОДЕРЖАНИЕ

Сцены из народного быта

Генерал Дитятин

Иван Федорович Горбунов.
ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

* * *

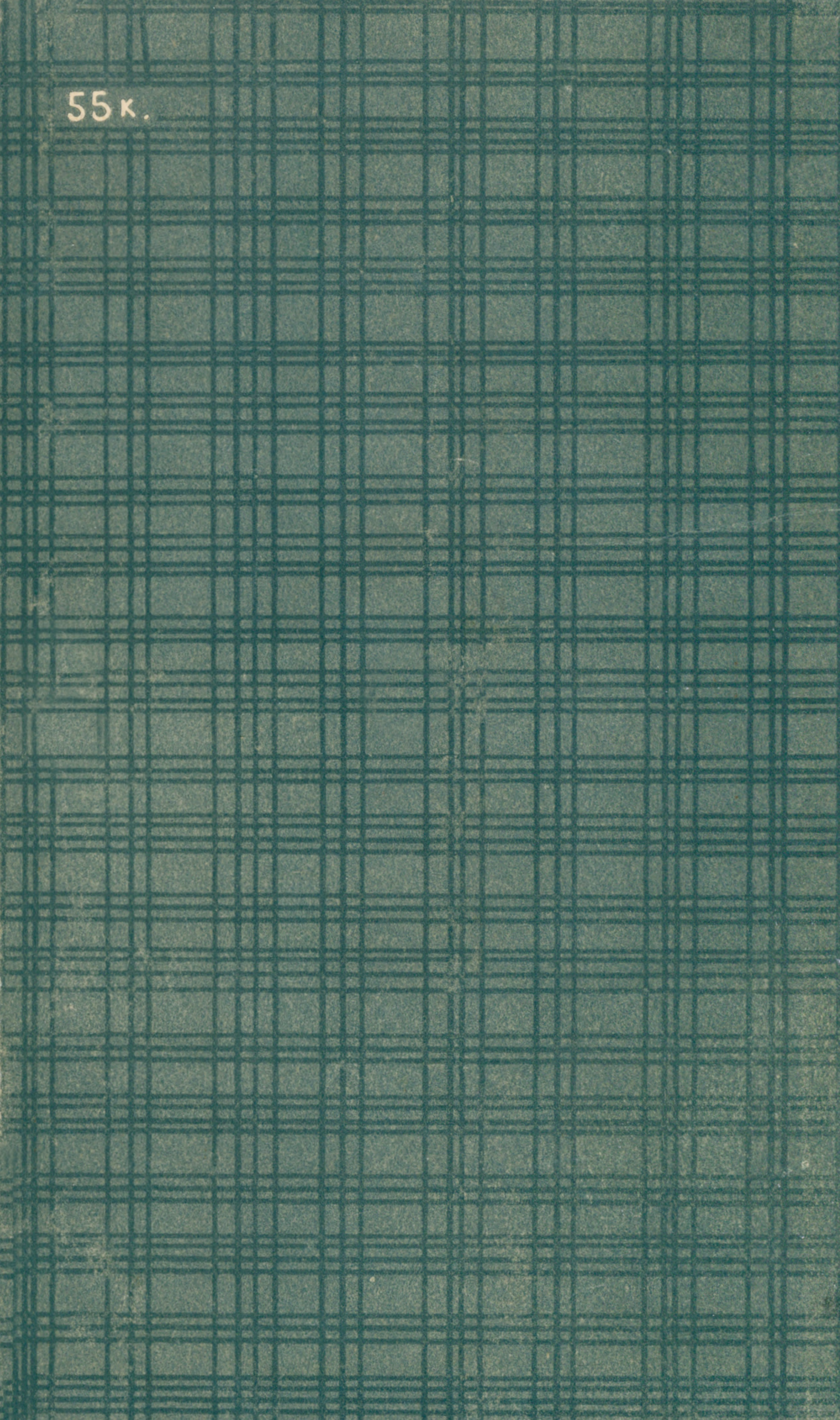
Редактор Т. Ильина.
Художник П. Зубченков.
Техн. редактор С. Павлова.

* * *

Издательство «Московский рабочий», Москва, пр. Владимирова, 6.

Подписано к печати 17/II 1962 г. Формат бумаги 84×108 1/32. Бум. л. 4,0.
Печ. л. 13,12. Уч.-изд. л. 12,52. Тираж 100 000. Цена 55 коп. Зак. 1180.

Типография изд-ва «Московский рабочий», Москва, Петровка, 17.


55 к.